Долгая страна

Философский роман



Алексей Кукушкин

Алексей Кукушкин

Долгая страна

«Автор»
2026

Кукушкин А. Н.

Долгая страна / А. Н. Кукушкин — «Автор», 2026

В мире, где мысли длятся пятнадцать секунд, а люди разучились слышать тишину, Вова находит книгу без обложки и узнаёт о сети Тихих комнат — последних убежищах длинного знания. Вместе с Дашей, Львом и Ириной он идёт сквозь неоновый хаос Короткой Республики, преследуемый Орденом и его главой Виктором Корном.Но тишина имеет цену. Один отдаёт ей голос. Другой — имя. Третий — прошлое. Четвёртый — самого себя и только тогда сеть начинает дышать, а одуванчик прорастает сквозь асфальт.«Долгая страна» — роман-манифест о том, как сохранить глубину в эпоху, когда всё ускоряется: о ремесле, которое лечит; о памяти, которая становится крыльями; о тишине, которая оказывается громче любого шума.Дочитав последнюю страницу, вы обнаружите: чистый лист ждёт вас...

© Кукушкин А. Н., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. ПОСЛЕДНИЙ КЛИК 5
Глава 2. СИНДРОМ ТИШИНЫ 10
Глава 3. ТРЕЩИНА В МОНОЛИТЕ 17
Глава 4. ЦЕНА ПРОБУЖДЕНИЯ 21
Глава 5. ШЁПОТ В СТЕНАХ 27
Глава 6. ТЕНИ НА ПОРОГЕ 33
Глава 7. ГРАНЬ 38
Г 43
Конец ознакомительного фрагмента. 44

Алексей Кукушкин
Долгая страна

Глава 1. ПОСЛЕДНИЙ КЛИК

Ноябрьский вечер опускался на набережную медленно и тяжело, унося с собой последние отблески дня. Серые тучи, цепляясь за шпили зданий и верхушки голых платанов, ползли над городом, наполняя воздух запахом мокрой листвы и речной сырости. Неон-розовые буквы вывески «Читай. Думай. Будь» плавили свой ядовитый свет в чёрных лужах асфальта. Каждая капля дождя, срывавшаяся с карниза, разбивала это отражение на тысячу дрожащих осколков.

Вова стоял у парапета, засунув руки в карманы куртки. Пальцы его правой руки нащупывали в ткани сухой одуванчик — хрупкую метёлку, шуршавшую при каждом движении и напоминавшую о лете, которое уже никогда не вернётся. Треснувшее стекло телефона впивалось в подушечку большого пальца острым осколком. Эта лёгкая, ноющая боль казалась единственным реальным якорем в мире, стремительно ускользавшем от него.

Он держал телефон двумя руками, бережно, раненую птицу. Экран пульсировал мертвенным светом, отбрасывая на лицо болезненно-жёлтые отблески, пока круг загрузки замирал на девяноста девяти процентах. Вода внизу била о бетонные плиты тяжёлым, гулким звуком прибоя. Этот звук наполнял грудь странной, щемящей тоской.

Вова нажимал кнопку отправки, чувствуя, как палец соскальзывает по стеклу. Капля крови выступила на коже и упала на розовый блик экрана, смешавшись с пикселями. Он кривил рот в улыбке, понимая, что это его последний голос, который система жадно заберёт себе.

Левый карман куртки разорвала короткая вибрация. Вова достал старый кнопочник с облезшим пластиковым корпусом и увидел на тусклом зелёном экране текст, спешивший сообщить ему о блокировке доступа и исключении из реестра. Сухой щелчок динамика прозвучал в тишине набережной. Вкус меди наполнил рот, потому что он прикусил внутреннюю сторону губы.

— Ну всё, приехали, — прошептал он в воротник, и слова его повисли в воздухе, смешавшись с запахом озона и мокрой листвы.

Серый бетон набережной поплыл перед глазами. Ноги стали ватными, и он сжимал телефон так, что пластик скрипел в ладони. Город вокруг него закрывался. Двери магазинов захлопывались одна за другой, витрины гасли, и неоновый розовый свет умирал на асфальте.

Он медленно повернул голову и в трёх метрах от себя увидел мужчину в сером пальто, сливавшемся с ночной мглой. Воротник этого пальто был поднят до самых ушей, а лицо скрыто в глубокой тени, так что только глаза блестели в полумраке, холодные и внимательные. Холодный ветер бил в лицо ледяными иглами. Вова чувствовал резкий запах сырой шерсти, доносившийся от мужчины.

— Ты долго думал, что тебе сойдёт с рук, — голос мужчины был ровный, без единой интонации, и слова его падали на мокрый асфальт тяжёлыми камнями.

— А что, уже нельзя? — Вова отступил назад, и каблук его соскользнул с мокрого бетона. Рука поискала опору, и пальцы царапнули шершавый парапет. Мужчина сделал второй шаг, и расстояние между ними сократилось.

— Реестр для тебя закрыт. Навсегда, — серое пальто поглотило свет фонарей. Вова слышал его дыхание — ритмичное, спокойное, дыхание хищника, который не спешит, потому что добыча уже поймана. Тень накрыла его с головой.

Он разжал кулаки, и мужчина остановился. Вова развернулся и пошёл прочь, чувствуя, как телефон в правой руке наливается свинцовой тяжестью. Пальцы немели от этой тяжести, а шум реки справа бил в уши. Вода несла свои тёмные воды в неизвестность.

— Куда собрался? — голос доносился из-за спины, тихий. Вова ускорял шаг, а ветер рвал полы куртки, и холод пробирал до костей.

— Подальше отсюда. — Он шёл к станции метро, но эскалаторы уже закрыты, и стальные решётки опущены вниз. Он дёргал ручку, и металл обжигал ладонь. Путь отрезан, и город закрыл свои ворота.

— Не получится, — шаги за спиной приближались. Шуршание гравия под ботинками и запах сырости забивали ноздри. Вова прислонялся лбом к холодному металлу, и вкус крови возвращался на язык.

Вова шёл по мокрой набережной, не оглядываясь. Серое пальто агента оставалось позади, но присутствие его висело в воздухе тяжёлым, удушливым облаком. Город вокруг него действительно закрывался. Неоновые вывески кафе и магазинов гасли одна за другой, оставляя после себя лишь серые прямоугольники на фасадах зданий. Люди, спешившие по тротуарам, шли, опустив головы, их лица были скрыты в воротниках пальто и шарфов. Никто не смотрел по сторонам. Никто не разговаривал. Каждый был погружён в свой собственный, невидимый другим мир.

В воздухе стоял резкий запах озона и мокрого асфальта. Вова сунул руку в карман куртки и нащупал сухой одуванчик. Хрупкая метёлка шуршала под пальцами, напоминая о лете, о солнце, о времени, когда мир был цветным и громким. Он сжал стебель, и тонкая соломинка хрустнула, оставляя на коже мелкую, колючую пыльцу. Этот звук был единственным, что связывало его с прошлой жизнью.

Он сделал резкий поворот. Подошва скользнула по мокрой глине. Он споткнулся — колено ударило о твёрдый бетон, и боль вспыхнула в ноге. Его пальцы судорожно сжали карман куртки, нащупывая что-то твёрдое, холодное, металлическое — стальной камертон, который он носил с собой годами, не зная зачем, но не в силах расстаться с ним. Металл холодила ладонь сквозь ткань, и он почувствовал, как холод проступает в груди, тяжёлый, липкий.

Он поднял голову, и агент смотрел на него, и Вова понял — он выдал себя, он привёл их к себе, он предал всё, что нёс в себе, и охота началась.

Охота началась.

Утренний свет, пробивавшийся сквозь высокие запылённые окна городской библиотеки, медленно полз по рядам дубовых стеллажей. Он выхватывал из полумрака золотые тиснения на корешках забытых фолиантов. В воздухе, тяжёлом и неподвижном, висел густой терпкий запах старого клея, переплётной кожи и вековой бумажной трухи. Эта труха оседала на плечи мягким невидимым снегом, забиваясь в воротник и щекоча шею.

Даша, стоя у высокой стойки каталога, нервно перебирала пальцами край своего безупречно белого халата. Ткань натянулась, обнажив побелевшие костяшки, а ногти впились в ладонь, оставляя глубокие полумесяцы.

— Мне нужна выжимка. Только суть. Кости, мышцы, нервы. Всё за час.

Её тонкий надорванный голос пробивался сквозь монотонный усыпляющий гул вентиляции. От этого гула ныли зубы и виски, а в ушах звенела тонкая серебряная нить.

Вова смотрел на Дашу, и в её глазах было что-то, чего он не видел раньше — не страх, не тревога, а что-то большее, что-то, что проступало из самой сути её существа, из того, что она несла в себе, из того, что она скрывала за безупречным белым халатом, за стерильными перчатками, за маской отличницы, которая всегда успевала, которая всегда была первой, которая никогда не ошибалась. И он понял — она ошибалась, она ошибалась каждый день, каждую минуту, каждую секунду, она ошибалась, когда думала, что может всё контролировать, что может всё понять, что может всё удержать в своих руках, и он хотел сказать ей это, хотел

предупредить, хотел спасти, но не мог, потому что слова застряли в горле, превратившись в сухой, шершавый ком.

Вова, не проронив ни звука, повернулся к тёмному провалу стеллажа. Его ладонь, скользнув по холодной шершавой коже переплётов, остановилась на массивном трёхтомнике. Он обхватил этот грузный том, пахнущий сухостью, и с глухим тяжёловесным стуком опустил его на столешницу.

— Выжимки не бывает. Бывает только знание.

Книга легла на стол мёртвым неподъёмным грузом.

Раскрыв первый том, чьи пожелтевшие шершавые страницы шуршали под её дрожащими пальцами, Даша утонула в бесконечных латинских терминах. Она вдыхала сухой пыльный запах типографской краски, щекотавший носоглотку и вызывавший лёгкое першение в горле.

Настенные часы, висевшие над дверью, отмеряли время тяжёлыми неумолимыми ударами маятника. Каждый такой удар, отдававшийся гулким эхом в пустом зале, падал на её плечи свинцовой тяжестью, пригибая их всё ниже к столешнице.

— Это три тома. У меня сорок минут.

— Время не сокращает объём.

Холодная отполированная десятилетиями поверхность деревянной парты неприятно холодила оголённые локти. Она вгоняла мелкую противную дрожь в предплечья, заставляя кожу покрываться мелкими пупырышками. Её губы, побелевшие и пересохшие, беззвучно шевелились, пытаясь удержать ускользающий смысл прочитанного.

— Я всегда успевала. Я всегда была первой.

— Анатомия не знает отличниц.

Она втянула воздух рывком, чувствуя сухость в горле. Снова уткнулась взглядом в бесконечные ряды цифр и названий костей, не в силах оторваться от этого холодного безжалостного знания.

Время утекало сквозь пальцы, не оставляя надежды.

Не в силах больше выносить немого давления бесконечных страниц, Даша с резким отрывистым движением захлопнула тяжёлый том. От этого удара ладонью по обложке в луче солнечного света взорвалось густое облако вековой пыли. Эта пыль пахла сухой прелостью и забытыми чернилами, оседая на ресницы и губы мелкой серой пудрой.

Из расстегнутой сумки, лежавшей на краю стола, с тихим пугающим пластиковым грохотом выкатился плоский флакон. Тридцать белых капсул, ударяясь друг о друга внутри, издали сухой частый треск ломающихся тонких веток.

— Что это?

Флакон с громким стуком упал на твёрдый паркетный пол. Пылинки в воздухе замерли в своём медленном танце. Даша, широко раскрыв глаза, смотрела на него. Флакон, подпрыгивая на неровностях старого дерева, катился прямо к стоптанным ботинкам Вовы.

— Это не моё.

— Флакон твой. Сумка твоя.

Пальцы её руки, судорожно сжавшие край стола, побелели до синевы. На лакированном дереве остались глубокие полукруглые следы, а под ногтями скоблась мелкая стружка.

Флакон замер у его ноги, требуя решения.

Вова медленно наклонился. Его пальцы, сомкнувшись на гладкой холодной поверхности флакона, ощутили неестественный почти ледяной мороз. Этот мороз исходил от матового пластика, который теперь тяжело оттягивал его ладонь, впиваясь в кожу острыми рёбрами.

В зале воцарилась такая густая звенящая тишина, что стало слышно: где-то в дальнем углу, за стеллажами, размеренно и гулко капает вода из протекающего крана. Она отсчитывала секунды этого застывшего неловкого мгновения, каждая капля падала на каменный пол с тихим металлическим звоном.

— Отдай. Пожалуйста.

— Зачем тебе это?

Даша не моргала. Её расширенные зрачки, вобравшие в себя весь тусклый свет зала, были прикованы к этому маленькому белому сосуду. Её рука, медленно потянувшись вперёд, повисла в воздухе, так и не решившись коснуться спасительного пластика.

— Мне нужно. Просто отдай.

Воздух между ними стал вязким и плотным. Он пах теперь не только пылью, но и острым металлическим привкусом чужого невольного вторжения в самую сокровенную пустоту.

Пластик в его руке весил больше жизни.

Не выдержав этого немого тяжёлого взгляда, Вова резко дёрнул ящик стола. Старые рассохшиеся петли издали сухой пронзительный скрип. Он убрал флакон внутрь, на стопку пожелтевших формуляров, и задвинул дерево с глухим окончательным щелчком, от которого по пальцам прошла мелкая шершавая вибрация.

— Ты не имеешь права.

— Я имею ключ от ящика.

От этой вибрации он поднял глаза. В этот самый миг из дальнего тёмного прохода между стеллажами донёсся тихий осторожный скрип половицы. Там, где воздух пах тёмным деревом, лаком и вековой скрытностью, в узком просвете мелькнула фигура Льва Кузьмина.

— Всё под контролем, Вова?

— Всё в порядке.

На его безупречно тёмном пиджаке, в тусклом луче света, пробившемся сквозь пыль, холодно и ярко блеснул металлический значок с выгравированной цифрой десять. Лев, не поднимая глаз, достал из внутреннего кармана блокнот. Тихий скользящий звук грифеля по шершавой бумаге стал единственным подтверждением того, что эта встреча не осталась незамеченной.

Тень ушла, но число продолжало холодно гореть.

Тяжёлое дубовое кресло неумолимо впивалось в позвоночник, заставляя Вову ерзать и искать удобное положение. На экране, мерцающем болезненно-зеленоватым светом, Ирина Соловьёва произносила свою обязательную вечернюю речь. Её ровный, лишённый малейших интонационных перепадов голос медленно заполнял пространство небольшого кабинета. Воздух в комнате давно остыл и пропитался горьким, затхлым запахом вчерашнего кофе. Вова не решался встать и вылить его из фарфоровой чашки, боясь пропустить хоть одно слово из транслируемого сверху наказа.

Глаза, устремлённые в чёрный квадрат телевизора, постепенно начинали слезиться от пересохшей роговицы. Веки, отяжелевшие от усталости, предательски опускались, заставляя его часто и резко моргать. Вдруг голос на экране оборвался на середине фразы. Тишина придавила его к спинке кресла.

Ирина медленно потянулась к столу. Её бледные, тонкие пальцы обхватили тяжёлую золотую ручку. Перо с тихим, царапающим скрежетом коснулось плотной бумаги, разрезая наступившую тишину. Вова машинально сжал в ладони холодный, скользкий пластик пульта.

По его запястью пробежала мелкая дрожь, стоило только камере начать медленное наезжание на поверхность министерского стола. Нагретый кинескоп телевизора начал источать резкий, удушливый запах озона. Этот аромат бил в нос, вызывая желание чихнуть.

Среди серых папок вдруг блеснул странный, неестественно яркий круглый предмет. Золотой блик скользнул по экрану, выхватывая из полумрака тяжёлую монету. На её поверхности чётко выгравировалась цифра десять.

У Вовы мгновенно похолодели кончики пальцев. На лбу выступила мелкая, холодная испарина. Знакомый символ обжёг его взгляд.

Экран погас, погружая кабинет в густой, непроглядный полумрак. Вова поднялся со скрипнувшего кресла и направился к узкой, крутой лестнице, ведущей в подвал библиотеки. Спускаясь по ступеням, он чувствовал холодную, шершавую поверхность старых деревянных перил, обжигающую ладонь. Снизу поднимался густой, приторный запах прелой бумаги и влажной, вековой плесени.

Где-то в глубине подвала мерно капала вода. Каждый глухой удар о бетонный пол отзывался в ушах Вовы протяжным эхом. Металлические стеллажи тянулись вдоль узкого прохода холодными, покрытыми рыжим налётом рёбрами. Проводя по ним пальцами, Вова ощущал липкую ржавчину.

Она въедалась в кожу, оставляя на подушечках шершавый, коричневый след. Ржавчина въедалась в его кожу.

В самом дальнем углу, на самой нижней полке, его пальцы нащупали нечто непривычное. Это была книга, лишённая обложки. Её пожелтевшие, истончившиеся от времени страницы пахли не затхлостью, а пряным, терпким ароматом мускатного ореха. Присев на корточки, Вова ощутил холодный бетонный пол, пронзающий колени острой болью.

Он потянул том к себе. Шершавая, неподатливая бумага с тихим треском царапнула подушечки его пальцев. Он открыл первую страницу. Взгляд, привыкший к ровным строкам государственных указов, скользнул по выцветшим чернилам.

Из полумрака выхватилась единственная, чётко прописанная фраза. Дыхание Вовы сбилось на вдохе.

Вова быстро сунул том под куртку. Грубая, неоклеенная обложка с силой вдавилась в его рёбра. Он торопливо застегнул молнию, издавшую в тишине подвала короткий, пронзительный визг. Из дальнего прохода донёсся едва слышный шорох ткани. Вова замер, прижавшись спиной к холодной, покрытой конденсатом кирпичной стене.

— Кого ищете в такой час, Владимир?

Голос Льва Кузьмина прозвучал ровно. По затылку Вовы медленно стекал холодный пот.

— Ничего, Лев Аркадьевич, просто проверяю нижние полки.

Вова медленно обернулся. В тусклом свете лампы он увидел фигуру наставника. На лацкане его чёрного пиджака холодно поблёскивал металлический значок.

— Проверки закончены час назад.

Лев сделал шаг вперёд. Запах его дешёвого табака смешался с удушливым ароматом старого воска. Вова вышел, не смея оглянуться.

Шаги эхом отдавались в пустоте.

Глава 2. СИНДРОМ ТИШИНЫ

Пыль висела в болезненно-жёлтом свете настольной лампы, медленно кружась в конусе, отбрасываемом абажуром на потемневший от времени дубовый стол. Вова смотрел на страницу, где чёрные буквы выстраивались в плотные шеренги, и смысл прочитанного ускользал от него, растворяясь в сухом запахе старой бумаги, въевшемся в кожу пальцев и одежду. В правом кармане куртки шуршал сломанный одуванчик — хрупкая метёлка, давившая на бедро мёртвой тяжестью, а сухая пыльца осыпалась на пальцы мелкой, колючей крошкой.

Он вёл указательным пальцем по первой строке, чувствуя, как шершавая бумага царапает подушечку, и буквы начинали ползти вверх, медленно, рывками, подхваченные невидимым потоком. Тиканье настенных часов в углу читального зала отсчитывало секунды с металлической точностью, и каждая секунда приближала его к норме в пятьдесят страниц, которую он не мог осилить. Сухая гниль переплёта щекотала ноздри, а лампа гудела тонким, почти неслышным проводом.

Буквы ползли вверх по мёртвой бумаге.

Указательный палец правой руки скользнул вверх по странице — короткое, привычное движение, от которого кожа зашуршала о шершавую поверхность. Вова замер, ладонь застыла на середине страницы, а холодный пот проступил на лбу, и тяжёлая капля скатилась к виску, оставляя за собой липкий след. Он убрал руку, положил её на колени, посмотрел в потолок, где жёлтая штукатурка трескалась в углах, и снова потянулся к странице.

Большой палец тёрся об указательный — короткое, фантомное движение, которое он повторял, не замечая, уже пятый раз за последний час. Воздух в комнате густел от пыли и клея переплёта, а страница не отвечала на прикосновения, стоя стеной из мёртвых букв. Часы тикали громче, и минутная стрелка сдвигалась на деление, отсчитывая время, которое он терял.

Палец рисовал в воздухе невидимую ленту.

Он поднял глаза и через стеллаж увидел Льва Кузьмина, смотревшего на него из полумрака, где серый пиджак сливался с тенью полок. В руке у Льва была чёрная ручка, и она стучала по деревянному столу — раз, два, три, — глухой стук дерева о дерево резал тишину читального зала. Запах дешёвого табака доносился из-за стеллажа, и горький дым щекотал ноздри, пока Вова отводил взгляд, возвращая его к своей странице.

— Вы сегодня бледны, Владимир.

Голос Льва прозвучал тихо, почти беззвучно, но ручка продолжала стучать — четыре, пять, шесть. Вова сжал край страницы, и бумага морщилась под пальцами, пока Лев медленно записывал что-то в блокнот, и скрип пера по бумаге наполнял паузу между ударами.

— Просто устал от пыли.

Ручка стучала снова — семь, восемь, девять, десять. Десять ударов, ровных, ритмичных, отсчитывавших что-то, чего Вова не мог понять.

Десять ударов отсчитывали его приговор.

Он сжал правую руку в кулак, и ногти впиваются в ладонь, вызывая острую боль, от которой кожа натягивалась, а вкус железа наполнял рот. Вова прикусил щёку изнутри, и кровь выступила на языке — металлическая, горькая, — а страница перед глазами расплывалась, превращая буквы в серую кашу из чёрных клякс. Он разжал кулак, и на ладони остались четыре красных полумесяца, горевшие огнём, пока лампа гудела громче, и провод вибрировал под столом.

— Вам нужно отдохнуть.

Лев не поднимал глаз от блокнота, и голос его был ровным, без единой интонации. Вова положил ладонь на страницу, и бумага впитывала влагу, оставляя мокрые следы от пальцев, а текст на странице окончательно исчезал, превращаясь в серую массу, плывшую перед глазами.

— Я в порядке.

Текст расплылся в серую безжизненную кашу.

Он захлопнул книгу, и громкий удар разорвал тишину читального зала, а пыль взлетела со страниц жёлтым облаком, кружась в свете лампы. Вова встал, и стул скрипнул по полу, а ноги его были ватными, когда он шёл к двери, чувствуя, как холодный кафель коридора бьёт в подошвы ботинок. Он толкнул дверь туалета, и петли визгнули, а запах хлорки ударил в нос — едкий, резкий, — и он повернул кран, подставив ладони под ледяную струю.

— Плохо спали?

Лев стоял в дверях, опираясь плечом о косяк, и смотрел на него с тем же спокойным вниманием. Вода стекала по щекам, капли падали на кафель, а Вова вытирал лицо жёстким полотенцем, чувствуя, как грубая ткань впитывает влагу медленно, неохотно.

— Нормально спал.

Рука дрожала до самого вечера.

Утренний свет, пробивавшийся сквозь высокое окно университетской больницы, ложился на стерильно-белые стены кабинета осмотра, выхватывая из полумрака бледно-голубые тени. В воздухе, тяжёлом и неподвижном, висел густой терпкий запах старого пота, смешанный с резким ароматом йода, который щипал носоглотку и вызывал лёгкое першение в горле.

Даша, стоя у узкой кожаной кушетки, сжимала в пальцах шариковую ручку. Дешёвый пластик впивался в подушечку большого пальца, оставляя круглую красную вмятину, а ребристый ободок царапал кожу.

— Жалобы. Давность. Приступы.

Старик, лежавший на кушетке, медленно моргнул. Его веки были тяжёлыми, опущенными, а кожа на лице — серой, с глубокими морщинами, в которых застряла пыль забытых лет.

— Одышка бывает. Ветер сегодня сильный. Голубь на форточку сел.

— Боль где? Локализация. Иррадиация.

Кожаная обивка кушетки издала сухой скрип, когда старик неловко повернул голову. Матовый потолок отразил глубокие складки у его рта.

— В груди колет. И в душе щемит. Давно не звонили.

Даша замерла. Ручка остановилась над чистой графой анкеты. Монотонный гул ламп дневного света заполнил неловкую паузу, проникая в уши тонким электрическим зудом.

— А вы сами-то как, дочка?

Вопрос повис в стерильном воздухе кабинета, тяжелее любого медицинского термина.

Даша смотрела на старика, и в его глазах было что-то, чего она не видела ни в одном учебнике, ни в одной лекции, ни в одном экзамене — не боль, не страх, а что-то большее, что-то, что проступало из самой сути его существа, из того, что он нёс в себе годами, из того, что он скрывал за морщинами, за седыми волосами, за дрожащими руками. И она поняла — она не может помочь ему, не может вылечить его, не может дать ему то, что ему нужно, потому что ему нужно не лекарство, не таблетка, не процедура, ему нужно что-то другое, что-то, чего она не могла дать, что-то, чего она сама не имела, что-то, что было больше медицины, больше науки, больше всего, что она знала.

Даша открыла рот, но слова застряли в гортани. В голове звенела пустота. На языке крутились цитаты из тяжёлых томов: анатомия, физиология, патогенез. Ни одна строка не подходила к его лицу.

Старик ждал. Его взгляд упирался в безупречно белый халат, в крахмальный воротник, который давил ей на шею, заставляя то и дело поправлять ткань.

— Температура? Давление?

— У Зинаиды аппарат хороший. Зять привез. Ночью окно стучало.

Она сглотнула. Сухость во рту царапала нёбо, а язык стал шершавым, чужим. Даша потянулась к стетоскопу. Холодный металл обжигал подушечки пальцев, заставляя их невольно сжиматься крепче.

— Дышите.

Запах спиртовой салфетки смешался с резиной трубок, ударил в нос острой химической нотой. Мембрана легла на впалую грудь пациента. Холодный круг прижался к рёбрам, и старик дёрнул плечом — кожа под металлом собралась мелкими буграми.

— В груди хрипит. И в сердце пусто.

Под кожей хрипел компрессор медицинского холодильника. Ритмичный гул заполнял кабинет, перекрывая неровное дыхание пациента. Сердце старика билось сбивчиво: удар, пауза, два коротких удара, провал.

— Краткая версия не существует.

Её правая рука медленно опустилась. Пальцы нащупали край кармана халата. Там лежал пластиковый флакон.

Флакон обещал лёгкую тишину.

Старик протянул руку через край кушетки. Его движение вышло медленным, суставы щёлкнули под тонкой кожей. Костлявые пальцы легли на белую ткань халата, поверх её запястья. Кожа старика обжигала жаром, проникающим сквозь тонкий хлопок.

Шершавые ладони накрыли её ладонь. Даша почувствовала мелкую дрожь в его пальцах, частую, неровную, передающуюся через ткань прямо в её кости. Запах камфорной мази и дешёвого мыла поднялся от его одежды, смешался с йодом и спиртом.

Жар полз по венам вверх, достигал локтя, плеча, висков. Стук собственного пульса бил в череп, сбивался с ритма, догонял и перегонял сердце пациента.

— Ничего, дочка. Ничего.

Даша смотрела на их руки. Белая ткань и смуглая старческая кожа. Пальцы старика сжимались крепче, костяшки белели, ногти были жёлтыми, расщеплёнными, с тёмными прожилками под краями.

Воздух в её лёгких превратился в стекло. Она боялась пошевелиться. Каждое движение разобьёт эту хрупкость. Старик закрыл глаза. Его ресницы дрожали. Тень от его руки легла на её запястье.

Мурашки бежали по предплечью. Кожа покрывалась мелкой сыпью. Жар старика менял температуру её крови. Трёхтомник анатомии молчал. Там не было слов для этого тепла.

Тепло чужой руки плавило теорию.

Даша рывком выдернула руку. Ладонь старика соскользнула на простыню и осталась там. Пальцы ещё держали форму её запястья, оставляя в воздухе невидимый отпечаток. Холодный воздух заполнил пустоту, ударил в кожу ледяной иглой.

Её пальцы разжались. Пластиковая ручка выпала. Громкий стук пластика о кафельный пол разорвал тишину. Звон отскочил от стен, рассыпался частым эхом, заставил лампы дневного света задрожать.

Запах сухой пыли поднялся от плинтуса, смешался с хлоркой и йодом. Даша смотрела на пол. Ручка лежала у её туфли. Чёрный стержень блестел в свете ламп. Она не наклонялась.

Плечи напряжены. Мышцы шеи каменеют. Старик открыл глаза. Его взгляд был тяжёлым. В нём не было обиды. Не было благодарности. Только глубокая, тихая жалоба.

— Ничего, дочка. Ничего.

Морщины вокруг глаз собрались в гармошку. Его зрачки отразили белый халат, стерильные стены, её застывшую фигуру. Даша отвела взгляд. Кафельный пол уходил из фокуса. Она сжала кулаки. Ногти впивались в ладони. Боль возвращала сознание.

Жалость в его глазах сжигала дотла.

Даша сделала шаг назад. Туфли скользнули по гладкому кафелю. Она спрятала руки в карманы. Пальцы нащупали холодный пластик флакона. Тридцать капсул ждали внутри, белые, ровные, безмолвные.

— Осмотр окончен.

Голос прозвучал чужим. Слова рассыпались в воздухе, не достигнув его ушей. Даша повернулась к двери. Ручка двери холодила ладонь, металл впивался в кожу, заставляя сжимать её крепче.

Она вышла в коридор. Дверь закрылась с глухим щелчком. Запах хлорки и варёной капусты ударил в нос, вытеснил йод и камфору. Длинные белые стены давили. Гул шагов и голосов сливался в монотонный шум, перекрывавший стук её собственного сердца.

Даша прислонилась спиной к стене. Холодный кафель проступал через тонкую ткань халата. Ледяной холод впитывался в позвоночник, полз вверх, к шее, к затылку. Вкус желчи поднялся в горло. Кислота жгла пищевод, обжигала нёбо.

Она закрыла глаза. За веками плыли белые пятна. Трёхтомник анатомии остался на столе. Флакон с таблетками грел карман. Старик лежал в кабинете. Его рука всё ещё хранила её тепло.

Она знала всё о болезни. Но не знала человека.

Бордовый ковёр глушил шаги, поглощая каждый звук, пока Ирина сидела в тяжёлом кожаном кресле, чувствуя, как жёсткая спинка впивается в позвоночник сквозь тонкую ткань блузки. Перед ней на полированном столе лежал отчёт, и цифры чернели на белой бумаге, отбрасывая тени в свете настольной лампы. Запах остывшего чёрного чая стоял в воздухе — горький, тяжёлый, въевшийся в кожу, — а чашка на краю стола была покрыта тонкой плёнкой, давно потерявшая тепло.

Ирина провела пальцем по строке, чувствуя гладкую, прохладную бумагу под подушечкой, и цифры не двигались: рост чтения семьдесят три процента, рост психозов сорок процентов. Лампа гудела тонким, почти неслышным звуком, и провод вибрировал под абажуром, пока она брала чашку, и керамика обжигала холодом ладонь. Горечь оседала на языке, когда она делала глоток, а сорок процентов превращались в четыре лица из десяти, в четыре судьбы, которые она не могла спасти.

— Цифры не лгут, Ирина Викторовна.

Голос Корна прозвучал из-за стола, ровный, без единой интонации, и Ирина поставила чашку обратно, и дно её стукнулось о деревянную подставку с глухим, тихим ударом. Она смотрела на вторую колонку цифр — психозы, срывы, отказы от адаптации, — и график полз вверх красной линией, неумолимой, как прилив.

Виктор Корн вошёл без стука, и его шаги были тихими, пока подошвы не звучали по бордовому ковру. Чёрный костюм сидел безупречно, галстук затянут до воротника, и он садился в кресло напротив с движениями механическими, точными, от которых пахло холодом и порядком. Ирина откидывалась на спинку кресла, и кожа скрипела под весом тела, пока Корн расстёгивал пуговицу пиджака, снимая кожаные перчатки медленно, палец за пальцем.

Скрип кожи о кожу резал тишину кабинета, и он клал перчатки на папку, где чёрная кожа блестела в свете лампы. Запах хвои и мороза доносился от его одежды, и холодный аромат заполнял пространство между ними, пока он открывал папку, и страницы шуршали, отсчитывая что-то, чего Ирина не хотела слышать.

— Слабые звенья требуют зачистки.

Слова падали на стол тяжёлыми камнями, и Ирина сжимала подлокотник кресла, чувствуя, как дерево впивается в ладонь через обивку. Корн клал лист перед ней — проект указа, принудительная адаптация, — и буквы чернели на бумаге, пока лампа гудела громче, и Ирина смотрела на заголовок документа, и буквы расплывались перед глазами.

— Это слишком жёстко.

— Это необходимо.

Ирина смотрела на лацкан пиджака Корна, где золотой значок блестел в свете лампы, и цифра десять была выгравирована на металле, полированном до зеркального блеска. Корн поправлял лацкан пальцами, и значок поворачивался, ловя свет, пока звонкий щелчок застёжки не разорвал тишину кабинета. Ирина вглядывалась в цифру — десять, та же цифра, что и на монете из эфира, круглой, золотой, тяжёлой в руке.

Она помнила вес монеты, холодный металл, острые края, и сжимала подлокотник сильнее, пока ногти впивались в кожу обивки. Корн не двигался, и значок на его лацкане светился, а золото чернело в тени, пока Ирина отводила взгляд, возвращая его к проекту указа. Буквы стояли стеной — принудительная адаптация, зачистка слабых звеньев, — и слова сливались в одну массу, пока лампа мигала снова.

— Вы понимаете, что это означает?

— Я понимаю, что означает бездействие.

Тень ползла по лицу Корна, и его глаза блестели в полумраке, пока Ирина проводила языком по зубам, чувствуя сухость во рту. Она тянулась к чашке с чаем, и керамика холодила пальцы, а чай давно остыл, и горькая плёнка на поверхности трескалась, когда она ставила чашку обратно. Дно стукалось о подставку, и Корн ждал, а значок на его лацкане ловил свет, и цифра десять горела золотом.

Ирина закрыла глаза. Темнота за веками принесла лицо сына: улыбку, светлые волосы. Пять лет. Навсегда пять лет.

Ирина закрыла глаза, и в темноте за веками она увидела сына — не того, который умер, а того, который жил, который смеялся, который бегал по коридору, который прыгал на кровать, который просил рассказать сказку, который засыпал у неё на коленях, и она почувствовала его тепло, его запах, его дыхание, и она поняла — она не может забыть его, не может стереть его из своей памяти, не может предать его, подписывая указы, которые убивают других, таких же, как он, таких же, как она, таких же, как все, кто нёс в себе эту боль, эту потерю, эту пустоту, которую нельзя заполнить ничем, кроме тишины, кроме покоя, кроме принятия того, что она не может изменить.

Она открыла глаза. Кабинет вернулся — бордовый ковёр, чёрные тени, золотой значок. Ирина потянулась к ручке. Тяжёлое золото холодило ладонь. Она положила руку на проект указа, ощущая гладкую бумагу под пальцами, и открутила колпачок. Сухой щелчок металла прозвучал в тишине.

Перо коснулось бумаги. Скрип по плотной странице разрезал воздух. Буквы имени появлялись на бумаге — И-р-и-н-а. Тёмные, густые чернила блестели на свету. Лампа гудела, провод вибрировал. Ирина поставила точку. Ручка замерла. Чернила медленно впитывались в волокна, тёмное пятно расплывалось. Она убрала руку. Золотой металл блеснул в последний раз.

Она смотрела на подпись, и чернила высыхали, впитываясь в бумагу, пока Корн наклонялся вперёд, и кожаные перчатки шуршали о брюки. Он ещё не надел их, и пальцы его были длинными, тонкими, а лампа отбрасывала тень его руки на проект указа, и тень накрывала подпись. Ирина смотрела на чернила, и они высохли, и бумага больше не блестела.

— Вы принимаете правильное решение.

— Я принимаю единственное возможное.

Корн брал проект указа, и бумага шуршала в его руках, пока он складывал лист пополам, и сгиб ложился ровно. Он клал документ в папку, и картон закрывался с глухим звуком, пока он застёгивал пуговицу пиджака, и золотой значок с цифрой десять прятался в тени лацкана. Корн вставал, и кресло не скрипело, а движения его были бесшумны, пока он брал папку под мышку, и картон прижимался к чёрной ткани.

Он кивал — короткое движение головы, — и Ирина не отвечала, смотря на пустое место на столе, где стояла только чашка с холодным чаем. Плёнка на поверхности потрескалась, а Корн шёл к двери, и его шаги не звучали по бордовому ковру. Дверь открывалась, и Корн выходил, и дверь закрывалась, и щелчок замка прозвучал в тишине кабинета. Ирина оставалась одна, и лампа гудела, и провод вибрировал, пока она смотрела на свою руку.

Пальцы дрожали, и она не могла их остановить.

Корн улыбнулся впервые за вечер.

Утренний свет не проникал в подвал, здесь царила густая, маслянистая тьма, пахнущая сырой землёй, старой бумагой и вековой прелостью забытых фолиантов. Вова спускался по крутым каменным ступеням, крепко сжимая в ладонях книгу без обложки — шершавые, неровные края пожелтевших страниц впивались в кожу, оставляя на пальцах серый налёт типографской пыли.

Где-то впереди, за рядами потемневших стеллажей, мерцал тусклый, дрожащий огонёк одинокой свечи. Вова остановился. Под его весом рассохшаяся половица издала сухой, протяжный скрип, от которого по сводчатым потолкам пробежала короткая дрожь эха.

Он замер, вжавшись спиной в холодную кирпичную кладку. Сырой камень обжигал лопатки сквозь тонкую ткань рубашки, заставляя мышцы невольно напрягаться. В густой тишине послышался чужой выдох — рваный, сбивчивый, выдававший присутствие живого человека.

Тень за дальним стеллажом дрогнула, отделившись от сплошной темноты.

Вова не дышал. Сердце колотилось о рёбра, отдавая гулким, частым стуком в виски, заставляя кровь пульсировать под кожей шеи тяжёлыми толчками. Он медленно опустил правую руку в карман брюк, где пальцы нащупали знакомый холодный металл — стальной камертон лежал на самом дне, обдавая кожу ледяным, почти обжигающим дыханием.

Запах собственной испарины смешался с резким ароматом озона, исходившим от старых, потрескавшихся проводов под потолком. Вова сжал инструмент в кулаке. Сталь впилась в ладонь острыми гранями, заставляя кожу холодеть и покрываться мелкими мурашками.

Тень сделала ещё один шаг вперёд, и тусклый свет свечи упал на её лицо. Это была Даша. Её белый халат покрылся толстым слоем серой пыли, волосы растрепались, а плечи были опущены так низко, несущие невидимую, неподъёмную ношу.

— Ты тоже не спишь? — голос её прозвучал тихо, надломленно.

Вова медленно вытащил руку из кармана.

От её одежды тянуло резким, щиплющим запахом больничной хлорки, который перебивал сырость подвала, въедался в ноздри и вызывал лёгкое першение в горле. Даша стояла неподвижно, её расширенные зрачки вобрали в себя тусклое пламя свечи, и маленький огонёк плясал на самом дне её глаз.

Вова смотрел на неё, узнавая в её застывшей фигуре то же опустошение, что носил в себе. Даша медленно подняла правую руку, её пальцы потянулись к карману халата, где лежал пластиковый флакон. Вова слышал тихий, частый звон капсул, ударяющихся друг о друга внутри сосуда.

Даша застыла. Её рука повисла в воздухе, пальцы судорожно сжимали ткань кармана, костяшки побелели от напряжения. Сквозняк прошёл по каменным стенам, холодный воздух ударил в лицо, заставив её моргнуть.

— Не надо, — выдохнула она, опуская руку.

Ткань халата издала тихий шорох.

Вова шагнул к стене, где ржавая труба уходила в потолок, оставляя на штукатурке бурые подтёки. Он поднял руку. Стальной камертон с глухим, чистым звоном ударился о металл, и длинная, ровная нота ля разрезала тяжёлый воздух подвала.

Это была природная частота. Четыреста тридцать два герца. Звук не ломал тишину, а наполнял её, проникая в каждую щель, в каждый камень. Вибрация пошла по ржавчине, спустилась по трубе в пол, и подошвы ботинок ощутили мелкую, частую дрожь. Каменная крошка посыпалась с потолка, щекоча щёки.

Нота длилась и длилась, вибрировала в зубах, в костях черепа, в самой середине груди. Даша закрыла глаза, её плечи медленно опустились, грудная клетка перестала часто вздыматься. Она выдохнула, воздух вышел из неё с тихим, едва слышным свистом.

Звук камертона стал якорем, удерживавшим их обоих.

Нота медленно растворилась в камне, и тишина вернулась в подвал, но теперь она была другой — мягкой, тёплой, не давящей на виски. Вова повернулся к Даше, свет свечи падал на её лицо, и тени ушли из её глаз, уступив место спокойной, ровной темноте.

Он сделал шаг навстречу, в его руках была книга без обложки, шершавые страницы которой он сжимал всё это время. Вова протянул её, и Даша медленно подняла руки, её пальцы коснулись бумаги, сухой и тёплой от его ладоней.

— Держи, — он разжал пальцы.

— Зачем мне это?

— Чтобы было что держать.

Плотные листы перешли из его рук в её ладони, и на мгновение их кожа встретилась — тёплая, живая, дрожащая от пережитого. Даша прижала книгу к груди, Вова кивнул, и где-то наверху, далеко над их головами, скрипнула тяжёлая дверь.

Они больше не были одни.

Глава 3. ТРЕЩИНА В МОНОЛИТЕ

Вова сидел в своей комнате, книга без обложки лежала перед ним на столе, и он смотрел на неё, чувствуя, как шершавая обложка царапает ладонь, когда он касался её. Запах мускатного ореха поднимался от пожелтевших страниц, густой, пряный, заполняющий ноздри, заставляя их щипать от непривычной остроты. Он открыл первую страницу, и буквы начали плыть, медленно, рывками, подхваченные невидимым потоком, превращаясь в бессмысленные закорючки, которые мозг отказывался удержать.

Его палец скользил по строке, чувствуя, как шершавая бумага царапает подушечку, и буквы начинали расплываться, ускользая от его внимания. Тиканье настенных часов отсчитывало секунды с металлической точностью, приближая его к норме в пятьдесят страниц, которую он не мог осилить. Сухая гниль переплёта щекотала ноздри, а лампа гудела тонким, почти неслышным проводом.

— Не получается, — прошептал он, и его голос прозвучал надломленно в тишине комнаты.

Буквы плыли, не складываясь в смысл.

Он закрыл глаза, и в темноте за веками он нашёл её — ноту «Ля», чистую, прозрачную, ту самую, которую они вызывали камертоном в подвале библиотеки, в тишине ночи. Эта нота не звучала в ушах, она вибрировала внутри черепа, резонируя с каждым ударом сердца, с каждым вдохом. Он открыл глаза, и его дыхание выровнялось, замедлилось, а он посмотрел на страницу, и буквы на мгновение замерли, чтобы снова поплыть, ускользая от его внимания.

Его правая рука метнулась к карману куртки, пальцы нащупали знакомую форму — стальной камертон, холодный, тяжёлый, и он начал вытаскивать его, нуждаясь в звуке, в вибрации, в чём-то, что разорвёт этот бесконечный, дробящий ритм. Но он остановился, понимая — здесь, в комнате, он не может ударить по камертону, звук привлечёт внимание, Лев услышит, и всё кончено.

Камертон обжигал ладонь сквозь ткань.

Он понял — он не может читать один. Ему нужна Даша. Он вспомнил её лицо в подвале, её расширенные зрачки, вобравшие в себя весь тусклый свет свечи, её дрожащие руки, её страх перед флаконом. Она тоже не могла читать одна, ей нужен был он, им нужен был друг друг, якорь в этом море коротких мыслей, ритм, который не подчинялся внешнему хаосу.

Он закрыл книгу, и пожелтевшие страницы тихо шуршнули, складываясь в привычную, тяжёлую форму. Он сжал её в ладонях, чувствуя, как тёплая бумага отдаёт ему накопленное за века тепло, проникающее сквозь кожу прямо в кости.

— Мне нужна Даша, — прошептал он, и его голос прозвучал твёрдо, без дрожи.

Книга вела его к ней.

Он встал, и стул скрипнул по полу, а ноги его были ватными, когда он шёл к двери, чувствуя, как холодный кафель коридора бьёт в подошвы ботинок. Он толкнул дверь, и петли визгнули, а запах хлорки ударил в нос, едкий, резкий. Он вышел в коридор, и его шаги прозвучали по каменному полу, отсчитывая секунды с неумолимой точностью.

Он шёл к Даше.

Книга ждала их обоих.

Даша сидела в своей комнате, и её пальцы сжимали край стола, чувствуя под подушечками холодную, гладкую поверхность. Запах больничной хлорки въелся в её одежду, в волосы, в самую кожу, и она не могла от него избавиться, не могла смыть, не могла забыть. Старик лежал в кабинете, его рука всё ещё хранила её тепло, и она чувствовала это тепло на своём запястье, реальное, живое, не отпускающее.

В кармане халата лежал пластиковый флакон, тяжёлый, требующий внимания. Тридцать капсул ждали внутри, белые, ровные, безмолвные, обещая лёгкую, спасительную тишину. Её пальцы дрожали, мелко, часто, заставляя ткань кармана шелестеть, и она понимала — она не может больше, не может нести это тепло, не может нести эту жалость, не может нести это понимание, что она знала всё о болезни, но не знала человека.

Флакон обещал забыть.

Она достала флакон, матовый сосуд тяжело оттягивал ладонь, требуя немедленного решения. Крышка поддалась с тихим, сухим щелчком, и тридцать белых капсул, ударяясь друг о друга внутри, издали частый, манящий треск, от которого во рту скопилась густая, металлическая слюна. Гладкий пластик скользил под пальцами, тёплый от её собственного жара, обещая мгновенное, спасительное облегчение.

Даша наклонилась, её пальцы потянулись к одной из капсул, но в этот момент она вспомнила — Вову в подвале, его книгу без обложки, его слова «Чтобы было что держать». Она вспомнила, как он протянул ей книгу, и их кожа встретилась — тёплая, живая, дрожащая от пережитого. Она вспомнила, что он не дал ей флакон, он дал ей книгу, якорь, который держал не на месте, а в мире, который она не хотела покидать.

Её рука повисла в воздухе, пальцы судорожно сжимали ткань кармана, костяшки побелели от напряжения.

Она закрыла флакон, крышка щёлкнула с тихим, окончательным звуком, и убрала его обратно в карман, где он остался лежать тяжёлым, ненужным грузом. Тишина комнаты стала мягкой, не давящей, только гулкие тиканья часов за стеной продолжали отсчитывать секунды, теперь уже не враждебные, а привычные, ровные. Даша подняла руку, рассматривая своё запястье, где ещё чувствовалось тепло старика, и она поняла — она не может забыть, не может стереть это тепло, не может вернуться к тому, кем была вчера.

Она встала, и её ботинки прошуршали по каменному полу, и она вышла в коридор, её шаги прозвучали по каменному полу, отсчитывая секунды с неумолимой точностью. Она шла к Вове, понимая — ей нужна книга, ей нужен он, ей нужно то, что он нёс в себе, то, что он передавал, то, что они создавали вместе.

Флакон остался в кармане, тяжёлый, ненужный.

Она нашла Вову в коридоре, и его лицо было бледным, измождённым, с глубокими тенями под глазами, а в его руках была книга без обложки, тяжёлая, тёплая от его собственного жара. Они посмотрели друг на друга, и в их глазах было понимание, которое они не могли произнести вслух — они не могли читать одни, им нужен был друг друг, якорь в этом море коротких мыслей, ритм, который не подчинялся внешнему хаосу.

— Пойдём, — прошептал он, и его голос прозвучал твёрдо, без дрожи.

— Куда?

— В подвал. Там мы можем читать.

Они шли вместе, их шаги звучали в унисон, отсчитывая расстояние, которое они проходили, приближаясь к подвалу, к книге, к тишине, которая ждала их.

Книга ждала их обоих.

Лев сидел в своём кабинете, и его пальцы медленно вращали чёрную ручку, оставляя на полированной поверхности стола едва заметные круги. Телефон на столе зазвонил резко, пронзительно, разрезая густую тишину кабинета, заставляя его пальцы остановиться в движении. Он поднял трубку, и голос Корна прозвучал из трубки глухо, отстранённо, пробиваясь сквозь помехи старой линии.

— Кузьмин. Субъект 451. Он нашёл что-то. Ускорьте.

Гул телефона смешался с гудением кондиционера, и Лев понял — Корн знает, или подозревает, или просто проверяет, и у него есть пять минут, чтобы доказать свою лояльность. Он

медленно опустил трубку, его пальцы потянулись к папке, лежавшей на краю стола — тонкой, серой, с грифом «Конфиденциально», напечатанным блёклыми буквами.

Папка жгла ему пальцы.

Он открыл её, пожелтевшие страницы зашуршали под его пальцами, издавая сухой, тихий звук, от которого по коже пробежала мелкая дрожь. Внутри лежали фотографии, схемы, перепечатанные фрагменты запрещённых текстов, скреплённые холодными металлическими скрепками, впивавшимися в бумагу острыми зубцами. Его пальцы остановились на одной странице, где мелким, убористым почерком было выведено имя. Вова. Рядом, через запятую, короткая фраза: «Спускался в подвал. Три раза за неделю».

Лев замер, его пальцы сжали край страницы, оставляя на бумаге мутные отпечатки. Холод металла скрепки обжигал кожу, и он понял — Вова нашёл книгу, Вова читает запрещённый текст, Вова предаёт Орден, и теперь Лев должен выбрать — донести или спасти.

Холод проступил в груди, тяжёлый, липкий, проникающий сквозь ткань рубашки прямо в рёбра, заставляя мышцы невольно напрягаться. В ушах зазвенело — тонкий, высокий звук, перекрывавший гул кондиционера, проникавший в череп, заставлявший виски пульсировать в такт невидимому метроному. Лев смотрел на имя, на мелкий убористый почерк, на запрещённые строки, которые он читал много лет назад, когда сам был студентом, когда Йосиф ещё учил его читать между строк.

Он вспомнил тот день — Йосиф сидел в этом самом кабинете, только тогда это была его комната, и он говорил: «Лев, ты должен понимать — книга не просто текст, это путь, это выбор, это жизнь». И Лев помнил, как он смотрел на Йосифа, как он верил ему, как он думал, что понял, и теперь он видел — Вова повторял его путь, шёл по тем же следам, читал те же строки, и Лев должен был выбрать — стать тем, кто предаст, или тем, кто спасёт.

Его пальцы сжали пуговицу на пиджаке, теребили ткань, заставляя нитки расходиться, образуя маленькую дырочку, через которую проступала белая подкладка. Золотой значок с цифрой десять блестел на лацкане, отражая тусклый свет настольной лампы, бросая зайчики на потолок.

— Он знал, — прошептал Лев, его голос прозвучал тихо, надломленно.

Звон в ушах не утихал.

Лев медленно закрыл папку, пожелтевшие страницы тихо шуршнули, складываясь в привычную, тонкую форму. Он откинулся на спинку кресла, старая кожа скрипнула под его весом, издавая сухой, протяжный звук, от которого по кабинету пробежала короткая дрожь эха. Его дыхание стало тяжёлым, неровным, грудь поднималась часто, мелко, заставляя ткань рубашки натягиваться на плечах.

Он посмотрел на значок, на золотую цифру десять, блестевшую в тусклом свете лампы. Уголёк сигары тлел в пепельнице, оставляя на стекле мутный, серый след. Лев медленно потянулся к телефону, его пальцы зависли над набором, не решаясь коснуться цифр.

— Не сейчас, — выдохнул он, убирая руку.

Кожа кресла скрипнула снова.

Лев играл в свою игру.

Ирина сидела в своём кабинете, и её пальцы сжимали край стола, чувствуя под подушечками холодную, гладкую поверхность. Запах остывшего чёрного чая стоял в воздухе — горький, тяжёлый, въевшийся в кожу, — а чашка на краю стола была покрыта тонкой плёнкой, давно потерявшая своё тепло. Она не могла уснуть после подписания указа, не могла забыть лица тех, кого она подписала на зачистку, не могла забыть, что она сделала.

Она открыла ящик стола, и пальцы её нащупали холодный металл — монету с цифрой десять, тяжёлую, золотую, которую она носила с собой, не зная зачем, но не в силах расстаться с ней. Она достала монету, и золото холодило ладонь, а цифра десять была выгравирована

чётко, ровно, и она смотрела на неё, чувствуя, как металл впитывает тепло её кожи, становясь тёплым, живым.

Гул лампы заполнял кабинет, и провод вибрировал под абажуром.

Ирина сжимала монету в кулаке, и края её впивались в ладонь, оставляя красные следы. Она помнила день, когда получила эту монету — день, когда её сын умер, день, когда мир рухнул, день, когда она поняла, что ничего не может изменить, что она должна подчиниться, что она должна стать частью системы, которая убила его. Монета была символом Ордена, символом власти, символом всего, что она потеряла, и всего, что она приобрела.

— Это необходимо. Для всех, — произнесла она вслух, и голос её прозвучал хрипло, неуверенно, и слова повисли в воздухе, не находя отклика, не находя подтверждения.

Монета в её руке холодила снова, впитывая тепло, превращаясь в кусок мёртвого металла, тяжёлого, бесполезного.

Она посмотрела на фотографию сына, стоявшую на краю стола, и увидела, что его улыбка смотрела на неё из рамки, разбитая, но всё ещё живая, всё ещё пятилетняя, навсегда пятилетняя. Она наклонилась, чтобы поднять рамку, и пальцы её дрожали, едва удерживая осколки стекла, которые впивались в кожу, а запах чая смешивался с запахом пыли, осевшей на фотографии.

— Осторожнее, мама. Ты порежешься, — голос прозвучал тихо, почти шёпотом, и Ирина выпрямилась, и перо её упало на стол, оставив кляксу на белой бумаге.

Тишина кабинета была ответом, тяжёлая, давящая, и гул лампы заполнял паузу, повисшую между её словами и пустотой комнаты.

Ирина закрыла глаза, и темнота за веками принесла запах его волос — тёплый, молочный, тот самый запах, который она помнила с тех дней, когда он засыпал у неё на коленях, а она гладила его по голове, чувствуя, как маленькие пальцы сжимают её руку. Тепло его ладони проступило на её собственной руке, реальное, живое, и она почувствовала, как его пальцы переплетаются с её пальцами, и это было так похоже на правду, что она не могла отличить воспоминание от присутствия.

Она открыла глаза, и кабинет вернулся — бордовый ковёр, чёрные тени, золотой значок. Ирина потянулась к ручке, тяжёлое золото холодило ладонь. Она положила руку на проект указа, ощущая гладкую бумагу под пальцами, и открутила колпачок. Сухой щелчок металла прозвучал в тишине.

Перо коснулось бумаги. Скрип по плотной странице разрезал воздух.

Она стирала себя из системы.

Глава 4. ЦЕНА ПРОБУЖДЕНИЯ

Свеча горела на каменном подоконнике. Тускло-золотой свет падал на страницы книги, лежавшей между Вовой и Дашей. Запах воска смешивался с сыростью, въевшейся в стены подвала за сотни лет.

Буквы на странице плыли, расплываясь в серую массу. Мозг отказывался удержать их. Вова тёр виски пальцами — кожа натягивалась, жжение в глазах становилось невыносимым. Кто-то втирал в них мелкий песок. Шершавая бумага царапала подушечки пальцев, когда он вёл рукой по строке, пытаясь удержать фокус. Буквы ускользали, превращаясь в бессмысленные закорючки.

Даша сидела напротив, сжимая книгу до белых костяшек. Её дыхание было частым, прерывистым. Холодный пот проступал на шее, оставляя липкие следы. Она моргала медленно, тяжело. Веки опускались, закрывая мир, который отказывался быть прочитанным. Свеча трещала тихо, почти неслышно. Пламя дрожало, отбрасывая танцующие тени на стены.

— Сколько мы уже читаем?

Голос Даши прозвучал хрипло. Она провела ладонью по лицу, размазывая влагу по щекам. Вова посмотрел на часы — стрелки показывали семь минут. Это был рекорд, которого они не достигали ни разу за последние месяцы.

— Семь минут. Осталось три.

Книга лежала между ними — тяжёлая, мёртвая, отказывающаяся отдавать свой смысл.

Даша уронила книгу. Она упала на каменный пол с глухим ударом. Страницы раскрылись, трепеща в воздухе, который пах старой бумагой и пылью.

Она дышала часто, поверхностно. Грудь поднималась и опускалась в ритме, который не совпадал с дыханием Вовы. Пальцы тянулись к карману сумки, где звенели капсулы во флаконе — тридцать штук, отмеренных на таможне. Спасение от этой боли. От этого усилия. От этого невыносимого напряжения.

Холодный пот стекал по шее. Мозг кипел, отказываясь работать. Он требовал дофамина. Требовал лёгкости. Требовал выхода.

— Даша, не надо.

Вова перехватил её руку. Его пальцы сжали запястье — кожа горяча под ладонью, пульс бьётся быстро, неровно. Она посмотрела на него. В её глазах была мольба, которую он не мог исполнить. Если они сейчас сдадутся, они никогда не смогут прочитать эту книгу до конца.

— Я не могу больше.

— Можешь. Ещё три минуты.

Её рука дрожала в его ладони. Он не отпускал. Пальцы сжимались и разжимались, борясь с собой.

Вова достал из кармана стальной камертон. Холодный металл обжигал пальцы. Он поднял его, направляя к трубе отопления, проходившей вдоль стены подвала.

Он ударил по трубе. Чистая нота «Ля» — четыреста тридцать два герца — взрезала воздух. Вибрация прошла сквозь кости, сквозь зубы, сквозь самую суть его существа. Запах озона наполнил подвал, смешиваясь с воском и старой бумагой.

Даша замерла. Её дыхание выровнялось, замедлилось. Звук распространялся по стенам, проникая в камень, в воздух, в их тела.

— Что это?

Голос её прозвучал тихо, почти шёпотом. Она смотрела на камертон в его руке. Вибрация успокаивала мозг, отключая требование дофамина, заменяя его чем-то другим. Чем-то чистым, глубоким, настоящим.

Вова не ответил. Он держал камертон, пока нота затихала медленно, неохотно, оставляя после себя тишину — тяжёлую, давящую, но не пугающую.

— Это якорь.

Она кивнула. Её пальцы разжались, отпуская карман сумки, где флакон звенел тихо, почти неслышно.

Они снова открыли книгу. Страницы легли на каменный пол. Свеча горела ровно, отбрасывая тёплый свет на их лица.

Вова чувствовал, как тепло касается его кожи. Тяжесть книги давила на ладони. Это было реально. Настоящее. Не ускользающее.

Буквы на странице перестали плыть. Он вёл пальцем по строке. Смысл складывался — медленно, с усилием, но складывался. Он понимал. Впервые за долгое время он читал. Он понимал. Он думал.

Буквы перестали быть просто чёрными значками на жёлтой бумаге. Они превратились в мысли — чужие мысли, которые становились его собственными. Вова чувствовал, как в голове складывается что-то новое, сложное, похожее на здание, которое он строит камень за камнем. Каждый абзац — новый этаж. Каждая страница — новая комната. Он никогда не думал, что чтение может быть таким — не потреблением, а строительством.

Вова чувствовал, как в голове складывается что-то новое, сложное, похожее на здание, которое он строит камень за камнем, и каждый камень был тяжёлым, реальным, настоящим, и он понимал — это не просто чтение, это не просто потребление информации, это строительство, это создание, это рождение новой мысли, которая была не его и не чужой, а их, общей, принадлежащей ему и Йосифу, ему и Даше, ему и всем, кто когда-либо читал эти страницы, кто когда-либо нёс в себе эту тишину, кто когда-либо понимал, что длина — это не время, а глубина, не количество, а качество, не скорость, а присутствие.

Даша читала рядом. Её дыхание было ровным. Пальцы лежали на странице спокойно, не сжимая бумагу до белых костяшек.

— Я понимаю, — прошептала она. Голос её дрогнул, но не от боли. От облегчения. От катарсиса. От понимания, что они прошли через это.

Вова кивнул, не отрывая глаз от страницы. Вдруг он услышал скрип половицы у двери. Его тело напряглось. Он поднял голову.

У лестницы стояла тень. Тень, которая не должна была там быть.

Тень стояла у двери, не двигаясь.

Утренний свет, пробивавшийся сквозь узкое матовое окно раздевалки, ложился на ряды белых металлических шкафчиков, выхватывая из полумрака их холодные, стерильные грани. В воздухе, тяжёлом и неподвижном, висел густой терпкий запах хлорки, смешанный с резким ароматом дешёвого мыла и старой человеческой испарины, который щипал носоглотку и вызывал лёгкое першение в горле.

Даша стояла у своего шкафчика, её пальцы судорожно сжимали холодный металл дверцы, оставляя на полированной поверхности мутные отпечатки вспотевших ладоней. Руки её дрожали — мелкая, частая дрожь, передававшаяся через запястья в локти, заставляя мышцы предплечий невольно напрягаться. Где-то в коридоре, за тонкой перегородкой, размеренно и гулко тикали настенные часы, отсчитывая секунды с неумолимой точностью.

— Даша, ты там?

Голос Вовы прозвучал приглушённо, пробиваясь сквозь звон в её ушах, перекрывавший все остальные звуки. Она не ответила, её пальцы нащупали в кармане халата знакомую форму — плоский пластиковый флакон, тяжёлый, требующий внимания.

Холодный металл шкафника обжигал ладони, заставляя кожу покрываться мелкими мурашками.

Она достала флакон, матовый сосуд тяжело оттягивал ладонь, требуя немедленного решения. Крышка поддалась с тихим, сухим щелчком, и тридцать белых капсул, ударяясь друг о друга внутри, издали частый, манящий треск, от которого во рту скопилась густая, металлическая слюна. Гладкий пластик скользил под пальцами, тёплый от её собственного жара, обещая мгновенное, спасительное облегчение.

Даша наклонилась, её пальцы потянулись к одной из капсул, но в этот момент дверь раздевалки отворилась с резким, пронзительным скрипом. Вова вошёл, его ботинки прошуршали по линолеуму, останавливаясь в двух шагах от неё.

— Не надо.

— Мне нужно. Три минуты.

— Три минуты — это навсегда.

Звон капсул стих, повис в воздухе тяжёлым, липким обещанием.

Вова не протянул руку к флакону, он медленно опустил свою ладонь в карман брюк, доставая оттуда сухой, пожелтевший стебель одуванчика. Он вложил его в её дрожащую руку, пальцы его были тёплыми, шершавыми, оставляющими на её коже лёгкий след сухой травы. Стебель оказался неожиданно тяжёлым, колючим, его неровная поверхность впивалась в ладонь, заставляя забыть о гладком пластике флакона.

Запах сухой травы, пыли и забытого лета поднялся от стебля, смешался с хлоркой и мылом, создавая густую, удушливую пелену прошлого. Даша посмотрела на свою руку — белые капсулы в одной ладони, жёлтый, ломкий стебель в другой.

— Что это?

— Якорь.

— Он сухой.

— Поэтому и держит.

Даша сжала пальцы, и сухая трава хрустнула, рассыпаясь мелкой пылью, но боль отрезвила, вернула сознание, разогнала туман, сгущавшийся над её мыслями. Приступ отступил, дрожь в руках утихла, уступая место тяжёлой, ватной усталости, оседавшей на плечи свинцовой тяжестью. Она медленно закрыла флакон, крышка щёлкнула с тихим, окончательным звуком, и убрала его обратно в карман, где он остался лежать тяжёлым, ненужным грузом.

Тишина раздевалки стала мягкой, не давящей, только гулкие тиканья часов за стеной продолжали отсчитывать секунды, теперь уже не враждебные, а привычные, ровные. Даша подняла руку, рассматривая одуванчик — жёлтый, ломкий, живой в своей сухости. Она посмотрела на Вову, и в её глазах было понимание, которое она не могла произнести вслух — она поняла, что он дал ей не просто стебель, а якорь, который держал не на месте, а в мире, который она не хотела покидать.

Она медленно протянула руку, и стебель перешёл из её ладони в его, и на мгновение их кожа встретилась — тёплая, живая, дрожащая от пережитого.

— Спасибо, — прошептала она, и её голос прозвучал тихо, надломленно.

— Не за что, — Вова сжал стебель крепче, чувствуя, как шершавая поверхность впивается в ладонь, напоминая о выборе, который он уже сделал. — Просто помни.

Вова кивнул, его ботинки прошуршали по линолеуму, уходя, оставляя её наедине с тишиной и воспоминанием о моменте, когда она чуть не сломалась, но не сломалась. Скрип двери за его спиной прозвучал тихо, почти нежно.

Стебель вернулся к нему, и это было правильно.

Сигарный дым висел под потолком тяжёлой, сизой пеленой. Он смешивался с запахом дорогой кожи кресел и хвои, которую приносил с собой Виктор Корн, садясь за массивный дубовый стол.

Лев Кузьмин стоял у края ковра. Пальцы его перебирали пуговицу на манжете — отрываясь от неё и возвращаясь снова. Гул кондиционера заполнял паузы между словами.

Лев докладывал о «тихом зале». Субъекты проводят там по десять минут, не выдерживая дольше. Корн слушал молча. Он выпускал дым тонкой, ровной струйкой, которая таяла в жёлтом свете лампы.

— Они не выдерживают глубины, Виктор Николаевич. Мозг отказывается удерживать фокус.

Корн медленно стряхнул пепел в хрустальную пепельницу. Серый порошок рассыпался по дну с тихим, почти неслышным звуком. Уголёк сигары тлел красным, ровным светом, отбрасывая на его лицо кровавые отблески. Корн смотрел на Льва через стол, не мигая.

— Десять минут — это не результат, а провал.

Корн потянулся к стакану, и лёд звякнул о стекло с коротким, чистым звуком, разрезавшим тишину кабинета. Он сделал глоток, и холодная жидкость обожгла горло, а Лев чувствовал, как его собственные пальцы холодеют, несмотря на тяжёлый воздух комнаты, пропитанный дымом и хвоей. Кожа кресла скрипнула, когда Корн откинулся на спинку, и этот звук показался Льву громче, чем должен был быть, а взгляд его начальника был ровным, без единой интонации, но от этого ещё более пугающим.

— Субъект 451 показывает признаки адаптации. Это недопустимо.

Лев теребил пуговицу сильнее, и нитка натягивалась, угрожая оторваться, а он понимал — Корн не угрожает, он констатирует, и это страшнее любой угрозы. Он смотрел на уголёк сигары, тлевший между пальцами Виктора Николаевича, и думал о том, что Вова в подвале библиотеки держал камертон, и нота «Ля» прошла по вентиляции, и он слышал её, и не доложил.

— Я ускорю темп.

— Темп уже ускорен. Мне нужны результаты.

Корн поправил лацкан пиджака, и золотой значок с цифрой десять блеснул в свете лампы, полированный до зеркального блеска, а Лев опустил глаза, не в силах смотреть на эту цифру, которая была везде — на монете, на значке, на документах, на всём, что связывало их с Орденом. Тишина в кабинете стала тяжёлой, давящей, и гул кондиционера казался теперь не фоном, а живым существом, дышащим в такт их дыханию. Звон льда в стакане повторился, когда Корн поставил его на стол, и этот звук был последним, что Лев слышал перед тем, как опустил голову ниже.

— Вы понимаете, что означает провал с субъектом 451?

— Понимаю.

— Тогда действуйте.

Лев кивнул, и подбородок его коснулся груди, а значок на лацкане Корна продолжал блестеть, холодный, золотой, неумолимый.

Корн достал из ящика стола папку, и бумага зашуршала в его руках, пока он клал её перед Львом, и тот видел только обложку — серую, без единой надписи, но тяжёлую от того, что было внутри. Щелчок замка портфеля прозвучал, когда Лев забирал папку, и металл был холодным под его пальцами, а запах табака густел в воздухе, смешиваясь с хвоей и кожей. Корн снова затянулся сигарой, и уголёк вспыхнул ярче, отбрасывая красные отблески на стены, пока Лев пятится к двери, чувствуя, как папка давит на ладонь тяжестью плана, который он должен был исполнить.

— Библиотека. Завтра. Не ошибитесь.

Лев кивнул, не поднимая глаз, и вышел в коридор, где гул кондиционера сменился тишиной каменных стен.

Значок жёг грудь сквозь ткань рубашки.

Утренний свет, пробивавшийся сквозь высокие матовые окна читального зала, ложился на ряды дубовых столов, выхватывая из полумрака серые, пыльные поверхности. В воздухе, тяжёлом и неподвижном, висел густой терпкий запах старой бумаги, переплётного клея и веко-

вой пыли, оседавшей на плечи мягким, невидимым снегом. Где-то под потолком монотонно гудели лампы дневного света, их электрический зуд проникал в уши, заставляя виски пульсировать в такт невидимому метроному.

Лев Кузьмин поднялся из-за своего стола, его чёрные ботинки с глухим, размеренным стуком ударили по паркету. Каждый шаг отдавался в пустом зале коротким эхом, заставляя посетителей замирать над своими томами, не поднимая глаз от пожелтевших страниц.

— Вова. Ко мне.

Голос его прозвучал тихо, но чётко, разрезая гулкую тишину зала, острое лезвие. Вова поднялся, его пальцы судорожно сжали край стола, оставляя на лакированном дереве мутные отпечатки вспотевших ладоней.

Он прошёл через зал, чувствуя на своей спине тяжёлые, невидящие взгляды. Лев стоял у своего стола, его пальцы медленно вращали чёрную ручку, оставляя на полированной поверхности едва заметные круги.

Перед Вовой на столе лежал сложный текст, пожелтевшие страницы были испещрены мелким, убористым почерком.

Лев сел в тяжёлое дубовое кресло, его пальцы остановили вращение ручки, и тишина в зале стала густой, давящей на виски. Он открыл блокнот, чёрная ручка заскрипела по шершавой бумаге, издавая сухой, пронзительный звук, от которого по спине Вовы прошёлся липкий, холодный пот.

— Прочтите этот фрагмент. Что означает слово «резонанс» в контексте скрытых частот?

Вопрос повис в воздухе, тяжёлый, требующий немедленного ответа. Вова посмотрел на страницу — текст был из той самой книги, которую он прятал в подвале, из той, за которую стирали в подвалах библиотеки.

Холодный пот стекал по позвоночнику, заставляя ткань рубашки липнуть к коже. Его сердце колотилось о рёбра, отдавая гулким, частым стуком в виски, перекрывая гул ламп над головой.

— Шестьдесят секунд.

Лев откинулся на спинку кресла, его пальцы снова начали вращать ручку.

Вова понял — ловушка захлопнулась.

Вова сглотнул, чувствуя, как пересохшее горло царапает нёбо сухим, шершавым комом. Он посмотрел на пожелтевшие страницы, на мелкий убористый почерк, на запрещённые строки, которые он читал в подвале при свете одинокой свечи. Ответ был там, в книге, но произнести его вслух означало подписать себе приговор.

— Резонанс в контексте скрытых частот означает соответствие между внешним воздействием и внутренней структурой объекта, — его голос прозвучал ровно, без дрожи, но слова были пустыми, выученными, лишёнными живого смысла. — Это явление описано в стандартных учебниках по акустике, глава четырнадцатая.

Он говорил медленно, выбирая каждое слово, избегая истины, прячась за формальными определениями. Его сердце продолжало колотиться о рёбра, но лицо оставалось спокойным, маска не дрогнула.

Лев смотрел на него в упор, его зрачки вобрали в себя весь тусклый свет зала.

— Стандартные учебники, — повторил он тихо.

Сухость во рту стала нестерпимой.

Лев медленно кивнул, его пальцы снова заскрипели по шершавой бумаге блокнота, оставляя короткие, резкие линии чёрной ручкой. Звук этот прозвучал в тишине зала громко, почти оскорбительно, заставляя плечи Вовы невольно опуститься, выпуская накопившееся напряжение.

— Можете идти.

Вова повернулся, его ботинки прошуршали по паркету, уходя от стола, от чёрной ручки, от пожелтевших страниц запрещённой книги. Он не оглядывался, чувствуя на своей спине тяжёлый, невидящий взгляд Льва, который следил за каждым его шагом.

В зале снова воцарилась привычная тишина, нарушаемая только монотонным гулом ламп дневного света. Лев закрыл блокнот, его пальцы медленно провели по чёрной обложке, оставляя на ней мутный отпечаток.

Лев знал, что Вова солгал.

Глава 5. ШЁПОТ В СТЕНАХ

Лев Кузьмин поднял голову от бумаг, когда Вова проходил мимо его стола, и чёрная ручка в его пальцах замерла, не оставив на странице ни единой точки. Гул настольных ламп наполнял читальный зал тяжёлым, почти осязаемым звуком, а пыль висела в воздухе, оседая на страницы книг, на плечи читателей, на саму тишину, которая сгустилась после того, как Лев произнёс его имя. Вова остановился, и стук его каблуков по паркету показался ему оглушительным, а запах старой бумаги и пыли наполнил ноздри, когда он поворачивался к столу, за которым сидел Лев, не поднимая глаз от документа.

— Подойдите, Владимир. Мне нужно ваше мнение по одному вопросу.

Лев отодвинул в сторону стопку бумаг, и движение его было медленным, обдуманным, а чёрная ручка осталась лежать на столе, отбрасывая длинную тень на белую поверхность. Вова сделал шаг вперёд, и паркет скрипнул под его подошвой, а гул ламп стал громче, заполняя паузу, повисшую между ними.

— Я занят чтением.

— Это займёт минуту. Не больше.

Лев достал из ящика стола маленький, сухой предмет — стебель одуванчика, пожелтевший, ломкий, пахнущий летом и чем-то ещё, забытым, и положил его перед Вовой, а тот увидел, как стебель лежал на белой поверхности, хрупкий, живой в своей сухости, и холодный пот проступил на спине, и рубашка прилипла к коже, а Вова смотрел на стебель, понимая — это ловушка, вопрос, ответ на который знает только тот, кто нёс в себе тишину, и Лев смотрит на него, и ждёт.

— Что это? — голос Льва прозвучал тихо, но каждое слово падало тяжёлым камнем.

— Одуванчик. Сухой стебель.

— Откуда он у вас?

Вова сжал кулак под столом, и ногти впивались в ладонь, а в правом кармане его куртки пальцы нащупали холодный металл — камертон, тяжёлый, знакомый, якорь в этом море, которое грозило поглотить его. Он понимал — если он скажет правду, что это от Йосифа, что это знак сети, что это якорь, который держит его в мире, который он не хочет покидать, Лев поймёт, и всё кончено.

— Нашёл на улице. Случайно.

— Случайно, — повторил Лев, и в его голосе не было удивления, не было разочарования — только спокойное, холодное знание, которое Вова не мог выдержать.

Лев знал, что Вова солгал.

Часы на стене отсчитывали секунды с металлической точностью, и каждая секунда падала в тишину, капля воды в пустой колодец, а Вова молчал, чувствуя, как сухость во рту становится невыносимой, и язык прилипал к нёбу, отказываясь шевелиться. Лев вращал ручку между пальцами — медленно, ритмично, — и блеск чёрного пластика ловил свет лампы, отбрасывая тёмные отблески на его лицо, которое оставалось спокойным, без единой интонации, без единого движения, выдающего нетерпение.

— Вы знаете, что одуванчик — это символ сопротивления? — голос Льва прозвучал тихо, но в тишине зала каждое слово падало тяжёлым камнем.

— Не знал.

— А теперь знаете.

Вова сжал кулак крепче, и ногти впивались в ладонь глубже, а он понимал — Лев не просто спрашивает, он проверяет, он ищет несоответствия, он чувствует, что что-то не так, и у него есть пять минут, чтобы доказать свою лояльность.

— Это просто сухой стебель.

— Возможно.

Лев поднял глаза, и в них не было удивления, не было разочарования — только спокойное, холодное знание.

Вова разжал кулак, и пальцы его дрогнули, а он посмотрел на стебель, на пожелтевшую, ломкую поверхность, и произнёс слова, которые не были правдой, но спасали его — безопасные, общие, те, которые мог знать любой, кто не нёс в себе тишину. Лев наклонился над листом, и скрип пера по бумаге раздался в тишине, когда он делал пометку на полях, короткую, резкую, а Вова чувствовал, как облегчение проходит сквозь его плечи, разжимая узел, который стягивал их последние шестьдесят секунд.

— Одуванчик — это просто растение. Символ лета.

— Возможно, — Лев повторил, и его голос прозвучал тихо, но в нём была острота, которая пряталась за этой тишиной. — Но некоторые видят в нём больше.

Лев поднял глаза, и в них не было удивления, не было разочарования — только спокойное, холодное знание, которое Вова не мог выдержать, и он отвёл взгляд, чувствуя, как камертон в кармане холодит бедро, тяжёлый, серебряный, настоящий.

— Можете идти.

Вова повернулся, его ботинки прошуршали по паркету, уходя от стола, от чёрной ручки, от сухого стебля одуванчика, который лежал на белой поверхности, немая улика против него. Он не оглядывался, чувствуя на своей спине тяжёлый, невидящий взгляд Льва, который следил за каждым его шагом.

Лев знал, что Вова солгал.

Подвал библиотеки дышал сырой землёй и вековой прелостью забытых фолиантов, густой аромат которых смешивался с терпким запахом расплавленного воска, оседавшего на каменных стенах мелкими, дрожащими каплями. Вова сидел на деревянной скамье, его пальцы медленно переворачивали пожелтевшие страницы книги без обложки, шершавая бумага царапала подушечки, оставляя на коже серый налёт типографской пыли. Где-то в дальнем углу, за рядами потемневших стеллажей, размеренно и гулко капала вода, отсчитывая секунды с неумолимой точностью.

Он остановился на странице, где буквы начали меняться, медленно перетекая из одной формы в другую, живые существа, ищущие своё истинное обличье. Запах мускатного ореха, густой и пряный, поднялся от пожелтевших страниц, заполняя узкое пространство между ними, заставляя ноздри щипать от непривычной остроты.

— Смотри, — Вова протянул книгу ближе к свету, его палец указал на строку, где буквы продолжали двигаться.

Даша наклонилась, её глаза расширились, отражая тусклое пламя одинокой свечи. Буквы сложились в новое слово, чёткое, требующее внимания.

Бумага шуршала под его пальцами, живая и тёплая.

Даша подняла свечу, её пальцы дрожали, заставляя пламя метаться из стороны в сторону, бросая на стены пляшущие, неуловимые тени. Горячий воск капнул на страницу, оставив мутное, белесое пятно, от которого поднялся тонкий дымок, пахнущий горелой травой и старым салом.

— Ближе, — выдохнула она, поднося пламя почти к самой бумаге.

Тепло от свечи обожгло её лицо, заставив кожу покраснеть и покрыться мелкими каплями пота. На странице, под воздействием жара, начали проступать скрытые строки, буквы выступали из глубины бумаги, всплывая со дна мутного озера.

Вова наклонился ближе, его дыхание смешалось с её дыханием, создавая тёплую, влажную пелену между ними.

Воск капал, страницы оживали.

Строки проступили полностью, чёткие, чёрные, требующие немедленного прочтения. Вова прочитал их вслух, его голос прозвучал тихо, надломленно, пробиваясь сквозь густую тишину подвала.

— Йосиф ждёт вас в Короткой Республике.

Имя ударило его в грудь, заставив сердце пропустить удар, а затем забиться чаще, отдавая гулким стуком в виски. Йосиф — его учитель, тот, кто исчез три года назад, оставив после себя только эту книгу и запах мускатного ореха.

Холодный пот выступил на лбу, стекая по вискам тонкими струйками, заставляя кожу холодеть и покрываться мелкими мурашками. Даша посмотрела на него, её зрачки вобрали в себя весь тусклый свет свечи.

— Ты знаешь его?

— Он учил меня читать.

Сердце колотилось, имя горело в груди.

Вова медленно закрыл книгу, её шершавые страницы тихо шуршнули, складываясь в привычную, тяжёлую форму. Он сжал её в ладонях, чувствуя, как тёплая бумага отдаёт ему накопленное за века тепло, проникающее сквозь кожу прямо в кости. Он понял — они не могут остаться здесь, не могут продолжать читать в подвале библиотеки, не могут прятаться от мира, от Ордена, от Корна, от Гончих, они должны идти, должны искать, должны найти Йосифа, должны узнать правду, должны понять, что он оставил им, что он передал, что он нёс в себе, и он посмотрел на Дашу, и в её глазах было то же понимание, то же решение, то же желание идти вперёд, несмотря на страх, несмотря на боль, несмотря на всё, что они потеряли.

— Мы идём, — его голос прозвучал твёрдо, без дрожи, но пальцы его продолжали сжимать книгу крепче.

Даша кивнула, её пальцы потянулись к карману халата, где лежал пластиковый флакон, но она не достала его, вместо этого её рука опустилась, повисла в воздухе. Вова почувствовал в своём кармане сухой, колючий стебель одуванчика, его шершавая поверхность впивалась в ладонь, напоминая о выборе, который он уже сделал.

— Короткая Республика, — повторила она тихо.

— Там, где время короче.

Они поднялись, свечи дрогнули.

Книга вела их в неизвестность.

Ирина склонилась над папкой с документами, и перо её скрипело по плотной бумаге, оставляя ровные, аккуратные строки, пока настольная лампа отбрасывала жёлтый круг света на полированную поверхность стола. Запах остывшего чёрного чая стоял в воздухе кабинета, тяжёлый, горький, въевшийся в кожу, а чашка на краю стола была покрыта тонкой плёнкой, давно потерявшая своё тепло. Она не поднимала головы, когда рамка с фотографией сына, стоявшая у края стола, дрогнула — сначала едва заметно, потом сильнее, — и упала на паркет с глухим, тяжёлым стуком, разбившим тишину ночи.

Стекло треснуло, и осколки рассыпались по полу, отражая жёлтый свет лампы тысячей маленьких огней, а Ирина замерла, перо застыло над бумагой, и она смотрела на фотографию, лежащую лицом вверх, где светлые волосы сына были растрёпаны ветром, а улыбка застыла на пять лет, навсегда на пять лет. Она наклонилась, чтобы поднять рамку, и пальцы её дрожали, едва удерживая осколки стекла, которые впивались в кожу, а запах чая смешивался с запахом пыли, осевшей на фотографии.

— Осторожнее, мама. Ты порежешься.

Голос прозвучал тихо, почти шёпотом, и Ирина выпрямилась, и перо её упало на стол, оставив кляксу на белой бумаге.

Ирина закрыла глаза, и темнота за веками принесла запах его волос — тёплый, молочный, тот самый запах, который она помнила с тех дней, когда он засыпал у неё на коленях, а она

гладила его по голове, чувствуя, как маленькие пальцы сжимают её руку. Тепло его ладони проступило на её собственной руке, реальное, живое, и она почувствовала, как его пальцы переплетаются с её пальцами, и это было так похоже на правду, что она не могла отличить воспоминание от присутствия.

— Мама, ты ошибаешься.

Голос его прозвучал рядом, и она открыла глаза, но кабинет был пуст, и только жёлтый свет лампы падал на разбитую рамку, и осколки стекла блестели на паркете, отражая её лицо, искажённое, чужое.

— Я делаю то, что должно.

Тишина кабинета была ответом, тяжёлая, давящая, и гул лампы заполнял паузу, повисшую между её словами и пустотой комнаты.

Ирина потянулась к перу, пытаясь вернуться к документам, но пальцы её дрожали, и перо выскальзывало из руки, оставляя на бумаге кривые, бессмысленные линии. Она посмотрела на разбитую рамку, на осколки стекла, блестевшие на паркете, и увидела в них своё отражение — искажённое, чужое, старое. Она наклонилась, чтобы собрать осколки, и пальцы её порезались о стекло, и кровь выступила на коже, красная, тёплая, настоящая.

Она смотрела на кровь, и боль в пальцах казалась ей единственной реальной вещью в этом кабинете, наполненном призраками и воспоминаниями. Она поднесла пальцы к губам, и вкус крови смешался с вкусом остывшего чая, горького, как её мысли.

— Я делаю то, что должно, — повторила она вслух, но голос её прозвучал хрипло, неуверенно, и слова повисли в воздухе, не находя отклика, не находя подтверждения.

Она посмотрела на фотографию сына, лежащую лицом вверх на паркете, и увидела, что его улыбка смотрит на неё из осколков стекла, разбитая, но всё ещё живая, всё ещё пятилетняя, навсегда пятилетняя.

Ирина открыла ящик стола, и пальцы её нащупали холодный металл — монету с цифрой десять, тяжёлую, золотую, которую она носила с собой, не зная зачем, но не в силах расстаться с ней. Она достала монету, и золото холодило ладонь, а цифра десять была выгравирована чётко, ровно, и она смотрела на неё, чувствуя, как металл впитывает тепло её кожи, становясь тёплым, живым. Гул лампы заполнял кабинет, и провод вибрировал под абажуром, а Ирина сжимала монету в кулаке, и края её впивались в ладонь, оставляя красные следы.

— Это необходимо. Для всех.

Она произнесла это вслух, и голос её прозвучал хрипло, неуверенно, и слова повисли в воздухе, не находя отклика, не находя подтверждения. Монета в её руке холодила снова, впитывая тепло, превращаясь в кусок мёртвого металла, тяжёлого, бесполезного.

— Для всех, кроме него.

Ирина потянулась к ящику стола, и пальцы её нащупали холодный пластик флакона, спрятанного под стопкой бумаг, и она достала его, и белый пластик блеснул в свете лампы, а тридцать капсул звенели внутри, перекатываясь с тихим, почти неслышным звуком. Она сжимала флакон в ладони, чувствуя, как холодный пластик впитывает тепло её кожи, а капсулы внутри перекатывались, отсчитывая что-то, чего она не хотела считать. Запах чая густел в воздухе, смешиваясь с запахом пыли и старой бумаги, а Ирина смотрела на флакон, и пальцы её дрожали, едва удерживая его.

— Только одну. Чтобы уснуть.

Она открутила крышку, и пластик скрипнул, а капсулы высыпались на ладонь, белые, маленькие, лёгкие, и она смотрела на них, чувствуя, как сердце бьётся ровно, спокойно, слишком спокойно для этой ночи.

Флакон обещал лёгкую тишину.

Старая часть библиотеки дышала вековой сыростью, густой аромат мокрого камня смешивался с пряным запахом мускатного ореха, который становился всё сильнее с каждым шагом

вглубь потемневших коридоров. Вова шёл вдоль стены, его пальцы скользили по холодной, шершавой кладке, чувствуя под подушечками неровные швы между камнями, уложенными чьими-то руками много столетий назад. Где-то вдалеке, за тяжёлыми дубовыми дверьми, размеренно и глухо стучали часы, отсчитывая минуты до ночного обхода охраны.

Он остановился у узкой ниши, скрытой за потемневшим гобеленом, его пальцы нащупали едва заметный выступ в каменной кладке. Даша подняла свечу, тусклое пламя метнулось в сторону, бросив на стену пляшущую тень, от которой по камню пробежала короткая дрожь света.

— Здесь, — Вова нажал на выступ, и камень с тихим, сухим скрипом отодвинулся в сторону.

Внутри ниши, в узком пространстве между камней, что-то блеснуло тусклым серебром, отражая дрожащий огонёк свечи.

Запах сырости ударил в лицо холодным дыханием подземелья.

Вова медленно опустил руку в нишу, его пальцы коснулись гладкой, холодной поверхности стали. Камертон лежал на каменной полке, тяжёлый, массивный, его металл обжигал кожу, заставляя пальцы невольно сжиматься крепче. Он вытащил инструмент на свет, и пламя свечи упало на его поверхность, выхватив из темноты мелкие, тщательно выгравированные буквы. Вова никогда не видел этого камертона раньше, но он чувствовал — это было от Йосифа, это было знаком, это было наследием.

— Читай, — Даша поднесла свечу ближе, её дыхание смешалось с его дыханием, создавая тёплую, влажную пелену между ними.

Вова провёл пальцем по шершавым буквам, чувствуя под подушечками каждую неровность, каждую тонкую канавку, прорезанную в стали чьей-то твёрдой рукой.

— Для тех, кто слышит.

Голос его прозвучал тихо, надломленно, пробиваясь сквозь густую тишину старой части библиотеки. Даша посмотрела на него, её зрачки вобрали в себя весь тусклый свет свечи.

— Это от него.

Холодный металл отдавал в ладонь вековую память стали.

Вова поднял руку, его пальцы сжали камертон за ножку, и он с глухим, чистым звоном ударил им о каменную стену. Нота ля разрезала тяжёлый воздух, длинная, ровная, проникающая в каждую щель, в каждый камень, в каждую трещину старой кладки. Вибрация пошла по стене, спустилась в пол, заставив подошвы ботинок ощутить мелкую, частую дрожь, проникающую прямо в кости.

Запах озона, резкий и электрический, поднялся от нагретого металла, смешался с мускатным орехом и сыростью, создавая густую, удушливую пелену прошлого. Вова закрыл глаза, чувствуя, как нота вибрирует в зубах, в костях черепа, в самой середине груди, и он понял — это был первый раз, когда он услышал эту ноту не в памяти, а в реальности, не в воспоминании, а в настоящем, и он почувствовал, как что-то в нём откликнулось, как что-то в нём узнало эту ноту, как что-то в нём стало частью её.

— Он жив, — выдохнула Даша, её плечи медленно опустились, выпуская накопившееся напряжение.

— Он ждал, что мы придём.

Нота заполнила комнату, вибрируя в каждом камне.

Вова медленно опустил руку, камертон продолжал петь свою длинную, ровную песнь, проникая в тишину старой части библиотеки, заполняя её живым, тёплым звуком. Он сжал инструмент в ладони, чувствуя, как тёплый металл отдаёт ему накопленную за годы память, проникающую сквозь кожу прямо в кости. Даша подняла книгу, её пальцы коснулись шершавых страниц, тяжёлых, тёплых от его ладоней.

— Мы идём, — её голос прозвучал твёрдо, без дрожи, но пальцы её продолжали сжимать книгу крепче.

— В Короткую Республику.

— Туда, где время короче.

Они повернулись к выходу, свечи дрогнули, и где-то вдалеке, за тяжёлыми дубовыми дверьми, снова застучали часы, отсчитывая минуты до ночного обхода. Вова сжал камертон в ладони, чувствуя его тёплую, живую вибрацию, проникающую прямо в сердце.

Камертон пел свою длинную песнь.

Глава 6. ТЕНИ НА ПОРОГЕ

Холодныйсвет рассвета пробивался сквозь мутное стекло окна, отбрасывая длинные серые тени на потемневший от времени деревянный пол, когда Даша вошла в комнату, прикрыв за собой дверь с тихим, едва слышным скрипом. Запах старого дерева и пыли висел в воздухе, въевшийся в стены за десятилетия, а половица у порога стонула под её подошвой, выдавая каждый шаг. Вова стоял у стола, и его пальцы замирали на ручке ящика, когда он увидел тонкую нить пыли, разорванную на латунной фурнитуре, — кто-то трогал эту дверь до него, совсем недавно, пока он спал.

— Ты рано.

Даша поставила сумку на стул, и ткань зашуршала о дерево, а её пальцы сжали ремешок, побелев на костяшках.

— Перекличка через двадцать минут. Нужно спешить.

Он кивнул, не отрывая взгляда от ручки двери, где нить пыли висела, тонкая паутина, разорванная чужими пальцами.

Они складывали вещи молча, двигаясь осторожно, чтобы не шуметь, а книга без обложки лежала на столе между ними — тяжёлая, с потрёпанными страницами, пахнущая старой бумагой и клеем переплёта. Вова положил рядом стальной камертон, и металл холодил ладонь, отбрасывая тусклый отблеск в сером свете рассвета, а Даша доставала сухари, завёрнутые в грубую ткань, и шорох свёртка казался оглушительным в тишине комнаты. Она открыла книгу, чтобы проверить, на месте ли закладка, и пальцы её нащупали что-то между страницами — тонкий листок бумаги, сложенный вчетверо, спрятанный в переплёте.

— Смотри.

Она протянула ему листок, и бумага зашуршала, когда он разворачивал её, а запах мускатного ореха ударил в ноздри — резкий, пряный, тот самый запах, который он помнил с детства, из кабинета Йосифа, где тот писал свои письма.

— Откуда это?

— Не знаю. Я просто проверяла закладку.

Вова смотрел на листок, и шершавая бумага царапала подушечки пальцев, а на нём были нарисованы координаты — точки, линии, пересечения, которые он узнал сразу, потому что это была карта путей, о которых Йосиф говорил ему когда-то, много лет назад, в другой жизни. Подпись в углу была короткой — одна буква «Й», и почерк был знаком до боли, до дрожи в руках, до тепла в груди, которое он не мог объяснить. Запах мускатного ореха густел, заполняя комнату, и Вова поднёс листок ближе к свету, чувствуя, как пальцы его дрожат, а сердце бьётся ровно, слишком ровно для этого утра.

— Это его почерк.

— Чей?

— Йосифа. Он жив.

Даша посмотрела на него, и её губы дрогнули, но она не возразила, только сжала край стола, чувствуя, как дерево впивается в ладонь.

Вова положил записку в карман, и бумага зашуршала о ткань, а он повернулся к столу, и его взгляд упал на книгу, которая лежала не там, где он её оставил вчера вечером, — сдвинутую на два сантиметра вправо, точно отмеренными, выверенными движениями чужих рук. Он подошёл ближе, и холод проступил на шее, липкий, тяжёлый, а тонкая нить пыли на ручке ящика стола была разорвана в двух местах, и отпечатки пальцев — чужие, не его — виднелись на полированной поверхности, еле заметные в сером свете рассвета. Даша стояла у окна, и её силуэт был тёмным на фоне светлого стекла, а она смотрела на него, и в её глазах было понимание, которое она не могла произнести вслух.

— Они были здесь.

— Да. И они знают.

Он закрыл ящик, и дерево стукнуло глухо, а книга на столе осталась сдвинутой, немой уликой против них.

Кто-то знал их план.

Кабинет Корна был погружён в полумрак, только настольная лампа отбрасывала жёлтый круг света на полированную поверхность стола, где лежала фотография — Вова, держащий в руках книгу без обложки, снятый через окно подвала библиотеки. Корн сидел в кресле, его пальцы медленно барабанили по подлокотнику — раз, два, три, — отсчитывая секунды, которые у Льва оставались, чтобы объяснить, почему субъект 451 всё ещё на свободе.

— Вы видели это?

Голос Корна прозвучал тихо, но каждое слово падало тяжёлым камнем, а Лев стоял у двери, чувствуя, как холодный пот проступает на шее, оставляя липкие следы под воротником рубашки. Он посмотрел на фотографию, и его сердце пропустило удар — Вова держал книгу, ту самую, которую Лев видел в подвале, ту самую, за которую стирали в подвалах библиотеки, и он понял — Вова нашёл то, что искал, Вова нёс в себе то, что Йосиф оставил, и теперь Лев должен был выбрать — предать или спасти.

— Когда это снято?

— Три дня назад. В подвале.

Корн медленно поднял глаза, и его взгляд был холодным, острым, не дающим передышки, а золотой значок с цифрой десять блестел на его лацкане, отбрасывая тусклый отблеск в жёлтом свете лампы.

— Вы были там. Вы видели его.

— Я следил.

— И не доложили.

Лев почувствовал, как холод проступил в груди, тяжёлый, липкий, проникающий сквозь ткань рубашки прямо в рёбра, и он понял — Корн знает, Корн всегда знает, и теперь у него есть пять минут, чтобы объяснить, почему он не арестовал Вову, почему он не забрал книгу, почему он позволил субъекту 451 уйти.

Лев сжал кулаки под столом, ногти впивались в ладонь, оставляя красные полумесяцы на коже, и он вспомнил — день, когда Йосиф впервые вложил ему в руки книгу, когда он сказал: «Лев, ты должен понимать — книга не просто текст, это путь, это выбор, это жизнь». И Лев помнил, как он смотрел на Йосифа, как он верил ему, как он думал, что понял, и теперь он видел — Вова повторял его путь, шёл по тем же следам, читал те же строки, и Лев должен был выбрать — стать тем, кто предаст, или тем, кто спасёт.

— Я ждал, когда он выйдет из подвала. Чтобы арестовать его на улице.

— И он ушёл.

— Он был не один. С ним была женщина. Даша.

Корн медленно встал, и кожа кресла скрипнула под его весом, а он обошёл стол, не спеша, и его взгляд был прикован к лицу Льва, не моргая, не отводя, и Лев чувствовал, как тяжесть этого взгляда давила на плечи, на грудь, на самое сердце, которое билось ровно, слишком ровно для этой минуты.

— Найдите их. Обоих. Живыми или мёртвыми.

Корн достал из ящика стола папку, и бумага зашуршала в его руках, пока он клал её перед Львом, и тот видел только обложку — серую, без единой надписи, но тяжёлую от того, что было внутри. Щелчок замка портфеля прозвучал в тишине кабинета, когда Лев забирал папку, и металл был холодным под его пальцами, а запах табака густел в воздухе, смешиваясь с хвоей и кожей.

— В них есть то, что нужно Ордену. Книга — это только начало.

— Что ещё?

— То, что они несут в себе. То, чему их научил Йосиф.

Корн снова затянулся сигарой, и уголёк вспыхнул ярче, отбрасывая красные отблески на стены, пока Лев пятится к двери, чувствуя, как папка давит на ладонь тяжестью плана, который он должен был исполнить.

— Не подведите меня, Кузьмин.

Лев кивнул, не поднимая глаз, и вышел в коридор, где гул кондиционера сменился тишиной каменных стен.

Значок жёг грудь сквозь ткань рубашки.

Гул голосов наполнял зал заседаний, смешиваясь с запахом дорогого кофе и кожи кресел, когда Ирина вошла, чувствуя на себе взгляд Корна ещё до того, как заняла своё место за длинным столом из полированного дуба. Серый свет из высоких окон падал на документы, разложенные перед каждым членом совета, а золотая ручка в её кармане холодила бедро через ткань костюма, тяжёлая, знакомая. Корн сидел напротив, и его пальцы лежали на столе неподвижно, но глаза его были прикованы к её лицу, отслеживая каждое движение, каждую тень, которая могла проступить на её коже.

— Ирина Викторовна. Вы задержались.

Голос его прозвучал ровно, без единой интонации, но она услышала в нём вопрос, который он не мог произнести вслух, и её пальцы сжали край стула, чувствуя, как дерево впивается в ладонь через перчатки.

— Простите. Дороги заняты.

Она села, и кожа кресла скрипнула под её весом, а запах кофе густел в воздухе, смешиваясь с запахом бумаги и чернил, заполняя зал тяжёлой, давящей тишиной.

Секретарь положил перед ней документ, и бумага зашуршала о полированную поверхность стола, а Ирина увидела заголовок — указ о зачистке, и её пальцы замерли над краем листа, чувствуя, как холод проступает на шее, липкий, тяжёлый. Она пробежала глазами список имён, и третье в первом столбце было его имя — Владимир, и рядом дата, и она поняла, что у неё есть десять минут, чтобы подписать, или они начнут немедленно, а её руки будут в крови, которую она не сможет смыть. Холодный стол холодила ладони через перчатки, и она сняла их медленно, палец за пальцем, чувствуя, как воздух зала касается её кожи, сухой, прохладный.

— Что-то не так с документом?

Корн наклонился вперёд, и золотой значок с цифрой десять блеснул на его лацкане, отбрасывая тусклый отблеск в сером свете окон.

— Нет. Всё в порядке.

Ирина взяла золотую ручку, и металл холодил пальцы, а она открутила колпачок, и щелчок прозвучал в тишине зала, когда перо коснулось бумаги. Она подписала имя медленно, выводя каждую букву с нарочитой аккуратностью, а потом поставила дату — но не сегодняшнюю, а на неделю позже, и чернила впитались в волокна бумаги, оставляя след, который она не могла стереть, но который давал им семь дней, семь ночей, семь возможностей спастись. Скрип пера по бумаге раздался в тишине, и она почувствовала, как сухость во рту становится невыносимой, а язык прилипает к нёбу, отказываясь шевелиться.

— Вы уверены в дате?

Голос Корна прозвучал тихо, но она услышала в нём остроту, и её пальцы дрогнули, едва заметно, а она не подняла глаз, продолжая смотреть на подпись, на чернила, которые высыхали медленно, неохотно.

— Указ вступает в силу через неделю. Так предусмотрено протоколом.

Ирина положила ручку на стол, и золото блеснуло в сером свете окон, отбрасывая тусклый отблеск на полированную поверхность. Её пальцы дрожали — мелкая, частая дрожь, кото-

рую она не могла остановить, и она сжала их в кулаки, пряча под стол, чувствуя, как ногти впиваются в ладони, оставляя красные полумесяцы на коже.

Она посмотрела на документ, на подпись, которую только что поставила, и увидела, что чернила высохли, впитались в волокна бумаги, оставив след, который она не могла стереть. Семь дней. Семь ночей. Семь возможностей для них спастись — для Вовы, для Даши, для всех, кто попал в список, для всех, кого она не могла спасти иначе.

Секретарь протянул руку, чтобы забрать документ, и Ирина увидела, как его пальцы коснулись бумаги, как он сложил лист пополам, и сгиб лёг ровно, точно отмеренными движениями, которые она знала наизусть, потому что сама делала так тысячи раз. Но сегодня этот жест казался ей чужим, враждебным, будто секретарь забирал не бумагу, а часть её души.

Она подняла глаза и увидела, что Корн смотрит на неё — не на документ, не на секретаря, а на неё, и в его взгляде не было удивления, не было гнева, только спокойное, холодное знание, которое она не могла выдержать. Она отвела взгляд, посмотрела на свои руки, на кулаки, сжатые под столом, и почувствовала, как холод проступает на шее, липкий, тяжёлый.

— Протокол, — повторил Корн тихо, и его пальцы барабанили по столу — раз, два, три, — отсчитывая что-то, чего она не могла понять.

Корн смотрел на её руки, и она чувствовала его взгляд на своих пальцах, на золотой ручке, на подписи, которую она только что поставила, и тяжесть воздуха в зале стала невыносимой, давящей на плечи, на грудь, на самое сердце, которое билось ровно, слишком ровно для этой минуты. Она не поднимала глаз, только сжимала ручку, чувствуя, как металл впитывает тепло её кожи, становясь тёплым, живым, а стук сердца наполнял её уши, заглушая гул голосов, шорох бумаги, дыхание других членов совета, которые не понимали, что происходит между ними двумя. Корн медленно откинулся на спинку кресла, и кожа скрипнула, а его пальцы барабанили по столу — раз, два, три, — отсчитывая что-то, чего она не могла понять.

— Протокол. Конечно.

Неделя была куплена.

Архив библиотеки дышал вековой сыростью, густой аромат мокрого камня смешивался с пряным запахом мускатного ореха, который становился всё сильнее с каждым шагом вглубь потемневших коридоров. Вова шёл по координатам, записанным мелким, убористым почерком на пожелтевшем клочке бумаги, его пальцы сжимали листок так крепко, что края его крошились, осыпая пол мелкой типографской пылью. Где-то вдалеке, за тяжёлыми дубовыми дверьми, размеренно и глухо стучали часы, отсчитывая минуты до ночного обхода охраны.

Он остановился у узкого прохода между стеллажами, его ботинки прошуршали по старому паркету, заставив рассохшиеся половицы издать сухой, протяжный скрип, от которого по сводчатым потолкам пробежала короткая дрожь эха. В темноте, за последним стеллажом, что-то шевельнулось — тень отделилась от сплошной темноты, обретая очертания сгорбленной человеческой фигуры.

— Ты пришёл, — голос старика прозвучал тихо, надломленно, пробиваясь сквозь густую тишину архива.

Вова замер, его пальцы невольно потянулись к карману, где лежал сухой стебель одуванчика.

Тень выступила из темноты.

Старик сделал шаг вперёд, и тусклый свет одиночной свечи, стоявшей на краю стеллажа, упал на его лицо — изрезванное глубокими морщинами, с седой, редкой бородой, спускающейся на потёртый воротник старого пиджака. Его пальцы, тонкие, с длинными, узловатыми суставами, медленно теребили пуговицу, заставляя ткань натягиваться, образуя маленькую дырочку, через которую проступала белая подкладка.

— Что у тебя в кармане? — его голос прозвучал резко, требовательно, разрезая густую тишину архива.

Вова медленно опустил руку в карман, его пальцы нащупали знакомую форму — сухой, колючий стебель одуванчика, его шершавая поверхность впивалась в ладонь, напоминая о выборе, который он уже сделал. Он вытащил стебель на свет, и пламя свечи упало на его пожелтевшую, ломкую поверхность, выхватив из темноты мелкие, сухие листья.

Старик посмотрел на стебель, его губы дрогнули, уголки рта поднялись, не широко, одними уставшими мышцами.

— Он узнал тебя.

Шершавый стебель лежал на ладони, живой в своей сухости.

Вова смотрел на старика, и в его глазах было что-то, чего он не видел раньше — не страх, не тревога, а узнавание, тихое, выстраданное, которое проступало через каждую морщинку, через каждую тень на его лице, и он понял — этот человек был частью сети, частью того, что Йосиф создал, частью тишины, которая жила в стенах библиотеки, в камнях, в самом воздухе, и он почувствовал — он не один, он никогда не был один, даже в самые тёмные моменты, даже когда казалось, что мир рушится, что сеть умирает, что тишина исчезает навсегда.

Старик медленно опустил руку во внутренний карман пиджака, его пальцы достали оттуда свёрнутый листок — пожелтевший, тяжёлый, пахнущий мускатным орехом и вековой пылью. Он развернул его дрожащими руками, и пламя свечи упало на поверхность, выхватив из темноты тонкие, тщательно прорисованные линии, переплетения улиц, отметки, символы.

— Держи, — его голос прозвучал тихо, надломленно.

Вова протянул руку, его пальцы коснулись шершавой бумаги, чувствуя под подушечками каждую неровность, каждую тонкую канавку, прорезанную чьей-то твёрдой рукой. Запах мускатного ореха ударил в лицо, густой, пряный, заполняющий ноздри, заставляя их щипать от непривычной остроты. На карте, в правом нижнем углу, мелким, убористым почерком была выведена буква «Й».

— Это она?

— Короткая Республика.

Шершавая бумага тяжело оттягивала ладонь.

Старик медленно отступил на шаг, его пальцы снова потянулись к пуговице, теребили ткань, заставляя нитки расходиться. Свеча дрогнула, пламя метнулось в сторону, бросив на стены пляшущие, неуловимые тени, от которых по стеллажам пробежала короткая дрожь света.

— Там вас ждёт не то, что вы думаете, — его голос прозвучал тихо, но чётко, разрезая густую тишину архива.

Вова посмотрел на него, его пальцы сжали карту крепче, чувствуя, как тёплая бумага отдаёт ему накопленное за годы тепло, проникающее сквозь кожу прямо в кости. Старик кивнул, его фигура медленно растворилась в темноте, оставляя после себя только запах мускатного ореха и вековой пыли.

Где-то вдалеке снова застучали часы.

Карта вела в неизвестность.

Глава 7. ГРАНЬ

Свеча горела на каменном подоконнике, отбрасывая тускло-золотой свет на карту, расстеленную на потемневшем от времени дубовом столе, а запах воска смешивался с сыростью, въевшейся в стены подвала за сотни лет. Вова разглаживал пальцами пожелтевшую бумагу, чувствуя, как шершавая поверхность царапает подушечки, и линии на карте — серые, тонкие, переплетённые — начинали плыть перед глазами, расплываясь в бессмысленную сеть, которую мозг отказывался удержать. Даша сидела напротив, и её пальцы сжимали край стола, а пламя свечи дрожало, отбрасывая танцующие тени на её лицо, и запах мускатного ореха, тонкий, пряный, доносился от старых страниц карты.

— Я не вижу начала.

Вова провёл пальцем по линии, и бумага зашуршала под его ладонью, а буквы в углах карты плыли, превращаясь в бессмысленные закорючки, которые не складывались в слова. Его виски горели, и жжение в глазах становилось невыносимым, а мозг требовал — быстро, коротко, одним взглядом, — но карта не отдавалась, стояла стеной из линий и символов, которые отказывались складываться в путь.

— Подожди. Дай мне лупу, я повнимательнее рассмотрю.

Даша протянула ему лупу, и тяжёлое стекло холодило его ладонь, а он поднёс её к карте, и буквы на мгновение замерли, чтобы снова поплыть, ускользая от его внимания.

Даша встала, и её шаги прозвучали глухо по каменному полу, а она подошла к трубе отопления, проходившей вдоль стены, и достала из кармана стальной камертон, чувствуя, как холодный металл обжигает пальцы. Она ударила по трубе, и чистая нота «Ля» — четыреста тридцать два герца — взрезала воздух подвала, и вибрация прошла сквозь кости, сквозь зубы, сквозь самую суть его существа, а запах озона наполнил пространство, смешиваясь с воском и старой бумагой. Вова замер, и его пальцы остановились на карте, и буквы перестали плыть, замирая на месте, складываясь в слова, которые он мог прочитать, медленно, с усилием, но мог.

— Так лучше?

Голос Даши прозвучал тихо, и она вернулась к столу, а нота затихала медленно, неохотно, оставляя после себя тишину, тяжёлую, давящую, но не пугающую. Вова кивнул, и его пальцы снова легли на карту, и линии под его ладонью стали неподвижными, реальными, читаемыми.

— Да. Теперь я вижу.

Вова наклонился ближе к свече, и пламя дрожало, отбрасывая танцующие тени на карту, а горячий воск капал на каменный подоконник, застывая белыми каплями, и он почувствовал, как тепло свечи касается его лица, обжигая кожу лёгким, приятным жаром. Он поднёс лупу к центру карты, и при определённом угле света, когда пламя свечи падало на бумагу сбоку, он увидел — буквы, проступавшие сквозь линии, невидимые при обычном свете, написанные тем же почерком, что и записка, — «Серая зона». Запах мускатного ореха густел, заполняя подвал, а дрожь пламени отражалась в его глазах, и он понял — это не просто место на карте, это граница, проход между мирами, о которых говорил Йосиф, между миром короткого ритма и миром длинной тишины, между миром шума и миром покоя, между миром, который они знали, и миром, который они должны были открыть.

— Смотри. Здесь.

Даша наклонилась ближе, и её плечо коснулось его плеча, а она смотрела на буквы, проступавшие сквозь линии, и её дыхание выровнялось, замедлилось, пока она читала надпись, которую никто другой не смог бы увидеть без этого света, без этой свечи, без этого терпения.

— Серая зона. Что это?

— Это путь. Единственный путь.

Они смотрели на карту, и тяжесть её давила на стол, на их ладони, на сам воздух подвала, а Вова вёл пальцем по линии, которая вела через Серую зону, и чувствовал, как бумага шершавая под его подушечками, и это было реально, настоящее, не ускользающее. Тепло свечи касалось его лица, а пламя дрожало, отбрасывая танцующие тени на стены, и он понимал — если они ошибутся, если неправильно прочтут карту, они погибнут, не найдя пути, не найдя выхода, не найдя того, что Йосиф спрятал от них за этими линиями. Даша сидела рядом, и её пальцы лежали на карте спокойно, не сжимая бумагу, а свеча горела ровно, отбрасывая тусклозолотой свет на их лица, на их руки, на путь, который лежал перед ними.

— Мы идём через неё.

— Да. Мы идём через неё.

Карта вела их через границу.

Тайный архив библиотеки дышал вековой сыростью, густой аромат мокрого камня смешивался с терпким запахом старой бумаги, оседавшей на полках мягким, невидимым покровом. Лев шёл вдоль потемневших стеллажей, его ботинки прошуршали по старому паркету, заставив рассохшиеся половицы издать сухой, протяжный скрип, от которого по сводчатым потолкам пробежала короткая дрожь эха. Где-то вдалеке, за тяжёлыми дубовыми дверьми, размеренно и глухо стучали часы, отсчитывая минуты до ночного обхода охраны.

Он остановился у узкой ниши, скрытой за потемневшим гобеленом, его пальцы нащупали едва заметный выступ в каменной кладке. Гобелен отодвинулся с тихим, сухим шорохом, и в тусклом свете одиночной свечи обнажился потемневший от времени ящик, инкрустированный потускневшей латунью.

— Ты пришёл, — голос прозвучал тихо, надломленно, пробиваясь сквозь густую тишину архива.

Лев замер, его пальцы зависли над ящиком, не решаясь коснуться холодной латуни.

Тень выступила из темноты.

Лев медленно опустил руку на крышку ящика, его пальцы коснулись шершавой кожи переплёта, чувствуя под подушечками каждую неровность, каждую тонкую канавку, прорезанную чьей-то твёрдой рукой много лет назад. Он открыл ящик, и пожелтевшие страницы зашуршали под его пальцами, издавая сухой, тихий звук, от которого по коже пробежала мелкая дрожь. Запах мускатного ореха ударил в лицо, густой, пряный, заполняющий ноздри, заставляя их щипать от непривычной остроты.

— Ты помнишь мой почерк, — голос прозвучал снова, тише, почти шёпотом.

Лев посмотрел на страницу, на мелкий, убористый почерк, на запрещённые строки, которые он читал много лет назад, когда сам был студентом. Дневник Йосифа лежал перед ним, тяжёлый, тёплый от чьих-то рук, пахнущий вековой пылью и мускатным орехом.

— Я помню, — выдохнул Лев, его голос прозвучал надломленно.

Шершавая кожа переплёта обжигала ладони.

Лев перевернул ещё одну страницу, и его пальцы дрожали так сильно, что бумага шелестела, бросая на стены пляшущие тени. Запись датирована тремя годами назад — датой исчезновения Йосифа. Почерк был ровным, спокойным, без единого признака спешки, учитель знал, что у него впереди ещё много времени.

«Орден ошибается. Они думают, что могут контролировать глубину. Но глубина не подчиняется. Она только ждёт.»

Лев перечитал строку дважды. Его пальцы сжали край страницы, оставляя на бумаге мутные отпечатки пота. Он помнил этот день — три года назад, когда Йосиф исчез, оставив после себя только книгу и запах мускатного ореха. Орден сказал: предатель, сбежал в Короткую Республику. Но эти строки... эти строки говорили о другом.

Он поднял глаза от дневника, и в тусклом свете свечи ему показалось — в дальнем углу архива стоит фигура. Сгорбленная, в старом пиджаке, с седой бородой. Фигура не двигалась, только смотрела на него.

Лев моргнул. Фигура исчезла.

— Ты устал, — прошептал он себе, но голос его дрогнул.

Лев перевернул страницу, его пальцы дрожали, заставляя пожелтевшую бумагу шелестеть, бросая на стены пляшущие, неуловимые тени. На странице, в правом нижнем углу, мелким, убористым почерком было выведено имя. Вова. Рядом, через запятую, короткая фраза: «Он придёт. Будь готов.»

Холод проступил в груди, тяжёлый, липкий, проникающий сквозь ткань рубашки прямо в рёбра, заставляя мышцы невольно напрягаться. В ушах зазвенело — тонкий, высокий звук, перекрывавший гул кондиционера, проникавший в череп, заставлявший виски пульсировать в такт невидимому метроному.

— Он знал, — прошептал Лев, его голос прозвучал тихо, надломленно.

— Он всегда знал, — ответил голос из темноты.

Звон в ушах не утихал.

Лев медленно закрыл дневник, пожелтевшие страницы тихо шуршнули, складываясь в привычную, тяжёлую форму. Он откинулся на спинку кресла, старая кожа скрипнула под его весом, издавая сухой, протяжный звук, от которого по кабинету пробежала короткая дрожь эха. Его дыхание стало тяжёлым, неровным, грудь поднималась часто, мелко, заставляя ткань рубашки натягиваться на плечах.

Он посмотрел на значок, на золотую цифру десять, блестевшую в тусклом свете свечи. Пальцы его сжали лацкан пиджака, теребили ткань, заставляя нитки расходиться, образуя маленькую дырочку, через которую проступала белая подкладка.

— Не сейчас, — выдохнул он, убирая руку.

Кожа кресла скрипнула снова.

Лев выбрал свою сторону.

Холодный свет рассвета пробивался сквозь высокие окна коридора, отбрасывая длинные серые тени на потемневший паркет, когда Ирина остановила Вову у поворота, и её пальцы сжали его рукав, чувствуя, как ткань холодна под её ладонью. Запах пыли висел в воздухе, въевшийся в стены за десятилетия, а гул шагов в дальнем конце коридора приближался медленно, неотвратимо, и она оглянулась, и её глаза метнулись к тени у лестницы, которая не должна была там быть. Вова замер, и его тело напряглось, а холод проступил на шее, липкий, тяжёлый, когда он понял — за ними следят, и у них есть минуты, не больше.

— Вам нужно идти другим путём.

Голос её прозвучал тихо, почти шёпотом, и она отпустила его рукав, а её пальцы дрогнули, едва заметно, выдавая то, что она не могла произнести вслух.

— Почему?

— Потому что они знают. Идут за вами.

Ирина достала из кармана сложенный листок бумаги, и шершавая поверхность царапнула его ладонь, когда он брал записку, а золото чернил блестело в сером свете рассвета — те самые чернила, которыми она подписывала указы, которыми она ставила свою подпись на судьбах людей. Тепло её руки задержалось на бумаге, когда он разворачивал её, и буквы были написаны быстро, неровно, в спешке, но разборчиво — «Неделя — ловушка». Запах пыли густел в воздухе, смешиваясь с запахом её духов, тонким, едва уловимым, а гул шагов приближался, и тень у лестницы двигалась, медленно, неохотно.

— Что это значит?

— Они дадут вам неделю. Чтобы вы думали, что у вас есть время.

— А сколько?

— Три дня. Может, меньше.

Ирина наклонилась ближе, и её дыхание коснулось его щеки, тёплое, живое, а стук сердец наполнял коридор, заглушая гул шагов, шорох бумаги, сам воздух, который стал тяжёлым, давящим. Она смотрела ему в глаза, и в её взгляде было что-то, чего он не мог понять — не страх, не вина, а что-то другое, более глубокое, более тяжёлое, что она несла в себе годами, не в силах поделиться с кем-либо.

— Не доверяй карте полностью.

— Почему?

— Потому что она показывает не всё. Никогда не показывает всё.

Ирина отошла, и её шаги прозвучали тихо по паркету, а она не оглянулась, только её силуэт растворился в сером свете рассвета, оставляя его одного в коридоре, с запиской в руке, с пониманием, которое холодило живот, тяжёлое, невыносимое. Вова сжал бумагу, и шершавая поверхность впивалась в ладонь, а чернила золота блестели, отбрасывая тусклый отблеск в сером свете, и он понимал — неделя была иллюзией, ловушкой, расставленной для них, чтобы они думали, что у них есть время, чтобы они расслабились, чтобы они совершили ошибку. Гул шагов стих, и тень у лестницы исчезла, а коридор остался пустым, холодным, молчаливым.

Неделя была иллюзией, ловушкой для них.

Рассветный туман лежал над землёй тяжёлой, молочной пеленой, скрывая очертания деревьев и дорожек, превращая мир в размытое, неуловимое видение. Вова и Даша вышли из библиотеки, их ботинки прошуршали по мокрому гравию, заставляя мелкие камешки хрустеть под подошвами с тихим, сухим звуком, от которого по утренней тишине пробежала короткая дрожь. Воздух пах мокрой землёй, прелой листвой и холодом уходящей ночи, проникал в лёгкие ледяной иглой, заставляя кожу покрываться мелкими мурашками.

Тяжёлая дубовая дверь закрылась за их спинами с глухим, окончательным звуком, от которого по каменным ступеням пробежала мелкая вибрация, проникающая прямо в кости.

— Мы успеем? — голос Даши прозвучал тихо, надломленно, пробиваясь сквозь густую пелену тумана.

— У нас десять минут, — Вова сжал в ладони свёрнутую карту, чувствуя под пальцами шершавую бумагу, тяжёлую, тёплую от его собственного жара.

Дверь закрылась, отрезая путь назад.

Вова остановился на последней ступени, его рука легла на холодную латунную ручку двери. Он оглянулся — библиотека стояла за его спиной, тёмная, молчаливая, хранящая тысячи тайн, которые он так и не успел разгадать. Запах старой бумаги и пыли доносился из приоткрытой двери, напоминая о годах, проведённых среди стеллажей, о ночах, когда он читал при свете свечи, о Даше, которая пришла к нему с флаконом в сумке.

— Прощай, — выдохнул он, и слово повисло в холодном воздухе, не находя отклика.

Даша стояла рядом, её пальцы сжимали ремешок сумки, а взгляд её был прикован к зданию, в котором она провела последние месяцы, борясь с собой, с системой, с собственным разумом. Она не сказала ни слова, только кивнула, и этот кивок был тяжелее любых слов.

Вова отпустил ручку. Латунь холодила ладонь ещё несколько секунд, прежде чем он развернулся и шагнул в туман.

Дверь за их спинами осталась открытой, но они не оглянулись.

Туман обволакивал их со всех сторон, густой, влажный, проникающий сквозь ткань одежды, заставляя кожу холодеть и покрываться мелкими каплями испарины. Вова шёл впереди, его пальцы сжимали карту так крепко, что края её крошились, осыпая мокрый гравий мелкой типографской пылью. Где-то вдалеке, за молочной пеленой, невидимые птицы издавали редкие, протяжные крики, от которых по утренней тишине пробегала короткая дрожь.

— Куда мы идём? — Даша шла рядом, её пальцы то и дело касались его рукава, ища опоры в густом, неуловимом тумане.

— Туда, где время короче, — он поднял карту, и тусклый свет рассвета упал на пожелтевшие страницы, выхватив из темноты тонкие, тщательно прорисованные линии.

Влажность оседала на ресницах мелкими каплями.

В тумане, в нескольких шагах от них, что-то шевельнулось — тень отделилась от сплошной молочной пелены, обретая очертания человеческой фигуры. Вова замер, его сердце пропустило удар, а затем забилось чаще, отдавая гулким стуком в виски, перекрывая все остальные звуки. Холод проступил в груди, тяжёлый, липкий, проникающий сквозь ткань рубашки прямо в рёбра, заставляя мышцы невольно напрягаться.

Фигура стояла неподвижно, её очертания расплывались в густом тумане, но Вова узнал эту осанку, эту привычку стоять прямо, даже когда мир рушится вокруг.

— Это он? — шёпот Даши прозвучал тихо, почти неслышно.

— Лев, — Вова не сводил глаз с фигуры, его пальцы сжали карту крепче.

Тень не двигалась, наблюдая.

Вова сделал шаг вперёд, его ботинки хрустнули по мокрым веткам, заставив их ломаться с сухим, протяжным звуком, от которого по утренней тишине пробежала короткая дрожь. Даша взяла его за руку, её пальцы были холодными, влажными от тумана, но тёплыми от её собственного жара, проникающего сквозь кожу прямо в его ладонь.

— Мы идём, — её голос прозвучал твёрдо, без дрожи, но пальцы её продолжали сжимать его руку крепче.

— Вместе, — Вова сжал её ладонь в ответ, чувствуя, как тёплая кожа отдаёт ему накопленное за ночь тепло.

Они шли вперёд, оставляя библиотеку позади, входя в густую, молочную пелену тумана, скрывавшую от их глаз всё, кроме нескольких шагов впереди. Где-то вдалеке снова закричала невидимая птица, и туман сомкнулся за их спинами, поглощая их фигуры, их шаги, их тени.

Туман поглотил их фигуры без следа.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.